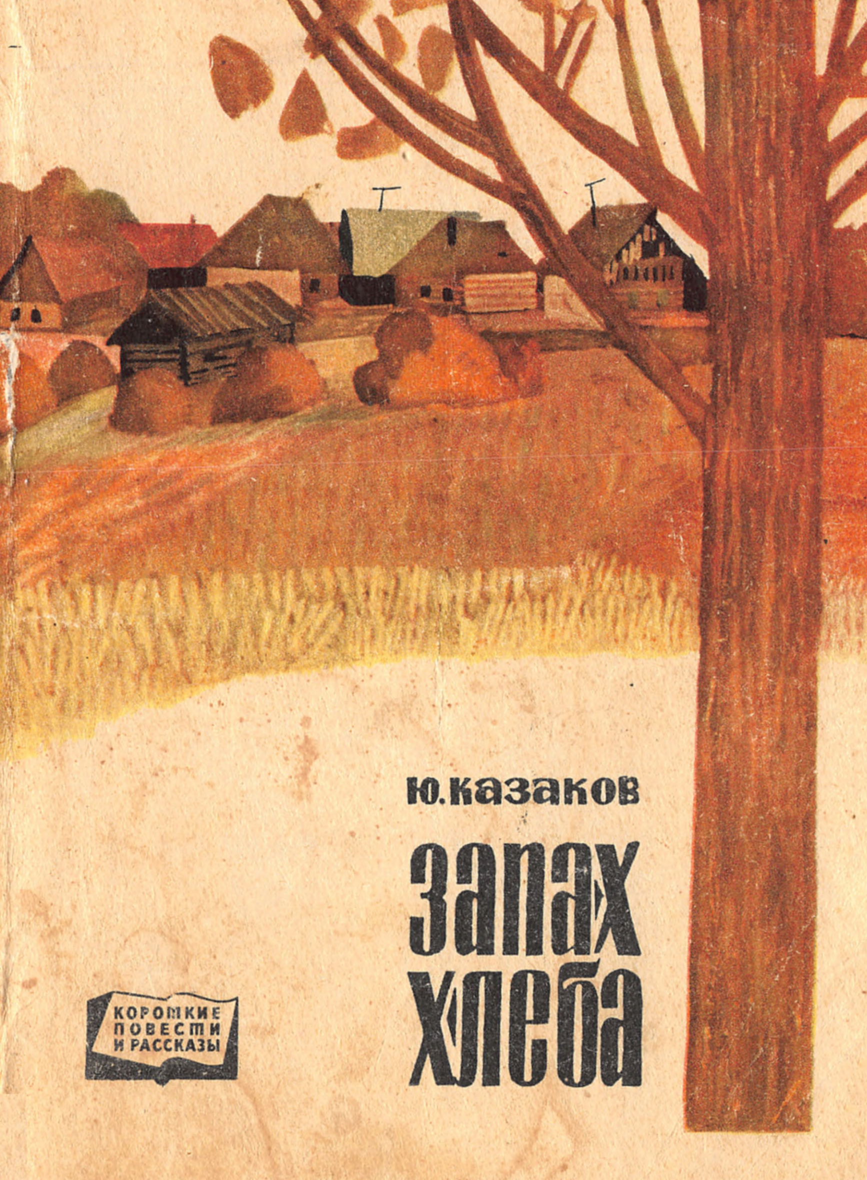

Ю. КАЗАКОВ
ЗАПАХ ХЛЕБА
КОРОТКИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Юрий Павлович Казаков родился в 1927 году в Москве. Учился в музыкальном училище, потом поступил в Литературный институт, который окончил в 1958 году.

Писать начал рано. В 1959 году в издательстве „Советский писатель“ вышла в свет первая книга автора — сборник рассказов „На полустанке“.

Позднее изданы сборники рассказов Юрия Казакова „По дороге“ и „Легкая жизнь“.

Ю. Казаков — член ССП.

Юрий Казаков

КОРОТКИЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

Запах хлеба

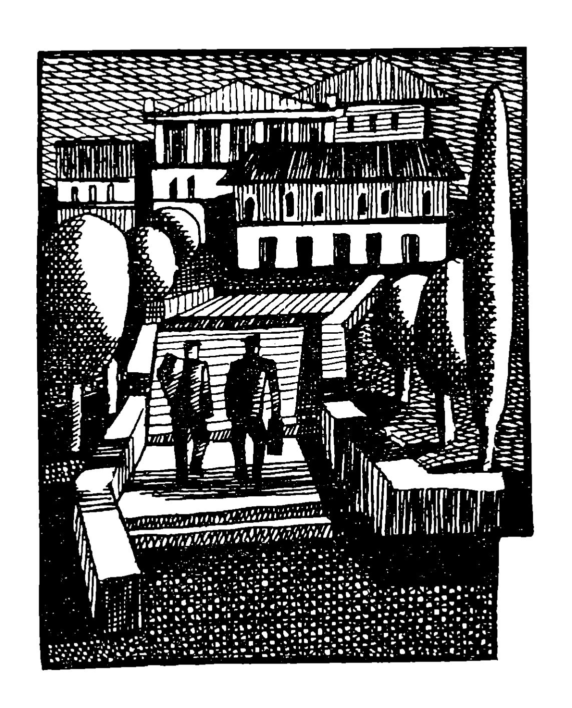
РАССКАЗЫ

Издательство
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Москва — 1965

Р 2
К 14

Герои новой книги рассказов Ю. Казакова — люди вроде бы ничем не примечательные, незаметные. Но они никогда не идут на сделку со своей совестью. Это люди чуткие ко всему, что возвышает и облагораживает человека, люди страстно ненавидящие ханжество и пошлость, мелкое в жизни.

Рассказы отличаются точностью деталей, емкостью психологических характеристик.



ПРОКЛЯТЫЙ СЕВЕР

Весной на меня наваливается странная какая-то тоска. Я все хочу чего-то, мне скучно, я думаю о проходящей своей жизни, много сплю и встаю осоловевший и разбитый.

Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане.

Всю осень и зиму мы ловили треску в Баренцевом море, забирались иногда в Норвежское, в Атлантику, и ни разу залитая рыбьим жиром палуба нашего траулера не была спокойной.

В Ялте горы казались красно-лиловыми, море синело и блестело, туманы были редки, а на набережной продавалось кислое крымское вино. Везде из садов, из-за каменных стен, на узких кривых татарских улочках в гористой части Ялты тянуло запахом цветов и влажной земли. И вообще пахло югом, древними горами и морем. На камнях, на плитах тротуаров лежали розовые лепестки — деревья осыпали свой цвет, и весь Крым в эту пору розово дымился и пах нежным дурманом. На базаре продавали красную редиску и невиданную иглу-рыбу с черной спиной, белым брюхом и зеленым позвоночником.

Мы жили в гостинице на набережной, и по ночам под нашими окнами шумело море, иногда перехлестывая через парапет. Мигал рубиновым глазом маяк в конце мола, и часто заходили, медленно вдвигались и застывали в порту красивые, освещенные, белые пароходы.

Мы презирали эти пароходы за их величину, за лень и благополучие, за их освещенность и легкость. Мы не могли смотреть без смеха на южных моряков — каботажников, на их белые мичманки, белые рубашки, на галстуки и на их отутюженные брючки. Мы вспоминали, как кривоного, беспомощно и упорно пляшем мы в полярном мраке, среди воя и свиста, среди гулких ударов, скрипа и треска — на палубах, резко освещенных рабочими лампами.

— А то давай переведемся, а? — предлагал я, лежа на балконе в шезлонге, глядя вниз на белые пароходы.

Друг мой только скалился.

Еще цвело в Ялте Иудино дерево. Не было на нем веток, не было листьев — просто мучительно искривленные коряги, черные во время захода солнца и будто сочащиеся кровью. Но в то же время они и мохнаты были, как уродливые гусеницы, от цветов, которые лезли прямо из коры.

Одно такое дерево торчало как раз под верандой нашей гостиницы. Мы сидели вечерами на веранде, пили коньяк и кофе — единственный хороший кофе во всей Ялте,— смотрели молча то на море, на огни в порту, то на набережную, на женщин и пижонов в цветных рубахах, то на это дерево. Когда нам надоедало смотреть вниз, мы поворачивались и смотрели на горы, которые постепенно теряли свои краски, становились сперва палевыми, дымчатыми, потом густо-лиловыми, потом черными...

Днем мы толкались на набережной или ездили в Гурзуф, в Ореанду, вечером снова бродили по набережной, под фонарями. И днем и вечером всюду было оживленно, шумно, людно, пахло духами, пудрой, женским телом — все будто торопились жить, все хотели счастья, легкости и знакомств.

А нам было скучно. Каждый раз вечером наваливалась на нас тоска, и Ялта казалась нам убогой, веселье людей — неестественным, и даже море было для нас ненастоящим, слишком прилизанным и удобным, созданным будто специально для отдыхающих, для прогулок на катерах. А катера были обязательно с громкоговорителями, и обязательно на весь порт, на всю Ялту, на все море хрипели и выли давно знакомые, заезженные пластинки.

Отчего нам было скучно, мы не знали.

И этот день плохо начался для нас. Мы валялись в номере, засыпали и просыпались, зевали, шелестели газетами. Мы ходили в буфет, но и пить с утра нам не хотелось. Наконец друг мой спросил:

— Слушай, а в доме Чехова ты был?

— Не был. А что?

Я где-то видел этот дом на открытке, но забыл, и теперь мне представилось что-то белое и решетчатое, что-то такое восточное.

— Давай, старик, поедем! — предложил мой друг.— Я люблю Чехова, знаешь? Как-то я его нежно очень люблю.

Мы побрились, пошли по набережной к почтамту, взяли такси и поехали. День был яркий, знойный, солнце отражалось от домов, от дороги, от каменных стен, от крыш внизу, когда дорога взбегала наверх. В машине было жарко, и машина была расхлябанная, бренчала и громыхала, и воняло бензином, и шофер был почему-то неразговорчивый, мрачный.

Все оказалось совсем не таким, как я думал. Внизу, под дорогой, стоял дом и флигель, и стены, выходящие на двор, были какие-то плоские, слепые. Двор около дома засыпан был гравием. На гравий больно было смотреть, так он был бел под солнцем. Под ногами неприятно шуршало и скрипело, а на верхней дороге жужжали МАЗы, и душный выхлопной дымок сносило вниз к дому.

А когда мы вошли, друг мой стал морщиться, сопеть, играть скулами.

— Ты чего? — спросил я. — Сам приехал, не тянули!

Нам было как-то неловко в этом доме. Я все думал, что вот строил человек себе дом, хотел тихо пожить,

чай пить, глядеть на море, вообще как-то побыть самому, писать там что-нибудь, думать. И вот мы надели шлепанцы и ходим по комнатам, заглядываем в разные углы. Там, глядишь, висит пальто, шляпа — Чехов надевал. Там марки какие-то лежат, стопочкой связаны, крючки рыболовные, лески... Думаешь, вот марками занимался, радость ему была, небось слюнями мочил или над самоваром отпаривал, разглядывал. А может, если бы он знал, что через шестьдесят лет мы будем разглядывать все это — ни за что бы не стал собирать.

Ходила вместе с нами какая-то компания, на машине приехали, и от всех слегка попахивало выпивкой. И были они все красные, распаренные и, видно, не знали сами, как это их сюда занесло. Они шептались, впрочем, достаточно громко, чтобы слышать их. И было в их шепоте что-то гнусное и жалкое одновременно:

— А она его любила? Зачем он с бородой был, ему не идет. А домик ничего себе! В таком доме и я бы написал чего-нибудь. Сколько тут комнат? Ого! А говорят, скромный был.

Я скорей перешел в кабинет. Тут был камин, письменный стол с какими-то вещицами, фотографии на стенах. Был стенд, заваленный весь фотокарточками — вот красавец Шаляпин с коком, с резкими ноздрями вздернутого носа, вот узколикий Бунин с твердыми, серыми, надменными глазами, с пушком по верхней губе. И на всех карточках были надписи — все размашистые, нарочито небрежные, будто каждому и не было вовсе лестно подарить карточку Чехову. Но было в то же время во всех надписях и еще что-то такое — для потомства, для истории, словно каждый хотел сказать своей надписью: вот, мол, хоть и Чехов, а я его знаю, хоть он и знаменит, однако и сам я не хуже, и неизвест-

но еще, кто кому оказывает честь — он мне, принимая карточку, или я ему — даря.

Заглянули мы и в спальню с жалкой какой-то узкой железной кроватью, а больше уж и глядеть нечего было, да и не хотелось нам, и все время неловко было, будто пришли, а хозяина нет, вот-вот вернется и застанет нас.

С облегчением сняли мы шлепанцы, вышли на двор, сели на лавочку под каким-то деревом, закурили. Глаза у моего друга были мокрые, скулы побелели, он щурясь оглядывал двор.

— Кувшины видал какие? — кивнул я на огромные глиняные круглые сосуды под водосточными трубами у флигеля.— Это при нем было?

— При нем,— сказал мой друг. Он все знал о Чехове.— Тогда водопровод плохо работал, дождевую собирали.

Мы помолчали. Как-то нам стало очень грустно в этом доме и жалко чего-то.

— А сад какой! — сказал мой друг.— Это он сажал, знаешь? Очень это хорошо! А знаешь, есть такая фотография: стоит он в кабинете, у стены, возле шкафа...

Сигарета у него погасла, он стал ее раскуривать.

— Ну?

— Я поглядел, шкаф стоит. И все как было. Вот так, старик. Шкаф стоит... Он тогда как раз возле шкафа стоял, даже опирался плечом. Или нет? Забыл... Но он там стоял, без пенсне, очень какой-то весь черный.

Мы еще посидели. Давешняя компания вышла из дому. Мужчины радостно закурили, женщины вынули зеркальца и пудреницы. Потом все пошли к машине, повозились там с какими-то тайными приспособлениями, отомкнули ее и уехали.

— Подумать только! — с внезапной злобой сказал мой друг.— Как он жил, как жил, господи ты боже мой! Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Ницце, пишет ей уничижительные письма, вымаливает свидания! А здесь вот, в этом самом доме печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска... В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере — Россия, снег, бабы, нищие, грязь и темнота и угарные избы. Ведь он все это знал, а у самого чахотка, кровь горлом, эх! Пошли, старик, выпьем! Несчастная была у него жизнь, а крепкий все же был человек, настоящий! Я его люблю, как никого из писателей, даже Толстого. Вот так.

Солнце стояло уже низко над горами, мы посидели еще и пошли домой пешком. Шли мы долго, и я думал, что и в этот вечер у меня снова будет тоска и что хорошо бы куда-нибудь пойти на люди. А когда пришли на набережную, солнце совсем скрылось, горы посинели, на маяке зажгли огонь. На набережной прямо под небом сидели за столиками и пили багровое и светлое сухое вино.

— Выпьем вина? — вяло предложил я.

— Иди, пасись! — сказал мой друг.— Мне три литра надо выпить, чтобы почувствовать. А три литра выпьешь, идешь, будто траулер с полными трюмами. Вот так, старик, давай-ка лучше погребем к коньячку!

Потом мы стали ругать коньяк и водку и вообще пьянство. Нам надоело пить, но мы никак почему-то не могли это бросить. Когда долго живешь в море и видишь все одно и то же: треску, морского окуня, поднимающийся и опускающийся горизонт, вспененную, взлохмаченную поверхность воды, когда в каюте у тебя все ерзает, падает, когда ты сам во сне валишься

через бортик койки и только в последнее мгновение цепляешься за что-нибудь и снова забираешься под одеяло,— хочется чего-то высокого и настоящего: настоящих женщин, музыки, настоящей еды, интересных разговоров и тишины. Но все это где-то далеко, все это отделено от нас сотнями миль пустынной штормовой поверхности океана, и проходит целая вечность, пока ты ступишь на берег, уж забудешь его запах и вид. И вот, когда Кольским заливом идешь к Мурманску, то еще часа за четыре бросаешь робу, надеваешь чистую рубаху, бреешься, и рубаха так прекрасно пахнет! Надеваешь еще галстук, от которого отвык, и узкие ботинки, которые жмут, и почему-то думаешь только о том, как придешь в ресторан, где будет тепло, светло и покойно, где будут женщины — пусть не твои,— где будет вино и бифштексы, пусть плохие, но все лучше, чем стряпня корабельного кока и тресковая опостылевшая уха.

И в Ялте мы были одни, как будто только что вернулись из долгого рейса, нам некуда было деваться, а только разговаривать о смысле жизни, о ее краткости, переменчивости, и чем веселее было вокруг нас, тем грустнее было нам, хоть это и глупо грустить, когда весна, когда ты в Ялте, на берегу прекрасного моря, когда кругом так много людей, и так южно и древне пахнет, так все зовет к бездумности, к счастью — но что делать и кто виноват, что нам плохо!

В ресторане было уж порядочно народу, когда мы пришли. Но столик возле оркестра как раз освобождался, и мы поскорей сели. Нам долго пришлось ждать среди грязной посуды и пустых бутылок, пока не при-

шел официант. Он был старый, раздраженный, ходил медленно, приседая, выворачивая ступни, и лицо у него было пошлое и алчное. Кое-как он убрал стол, пренебрежительно записал, что мы ему наговорили, и ушел, а мы выложили сигареты, закурили, облокотились и стали слушать музыку и глядеть по сторонам.

Музыкантов на эстраде было трое: пианист, скрипач и гитарист. Когда я слушаю музыку в ресторане, смотрю на оркестр, на лица музыкантов, как они переговариваются, отдыхают, как они играют давным-давно знакомые вещи, которые играли, кажется, еще до того, как ты родился,— мне делается жалко музыкантов. Я думаю о том, как некоторые из них учились когда-то, ходили в музыкальную школу или в училище, или даже в консерваторию, слышали из-за дверей классов звуки роялей, виолончелей; как разучивали концерты Моцарта и Бетховена; как им грезились симфонические концерты, мраморные залы, партер и ложи, мощно, дружно звучащий оркестр, и они в этом оркестре, и их соло в каком-то месте симфонии. И как потом у каждого из них что-то не получилось, не удалось, и вот все они мало-помалу превратились в лабухов, усвоили легко тот музыкальный жаргон, который теперь так широко подхватили пижоны — и человека уже называют «чуваком», о своей игре говорят: «лабать», еда и выпивка для них «бирлянство» и «кирянство», а если играют на похоронах, то это удача, и покойник для них не покойник, а «жмурик»... Лица у них потасканные, судьбы у них нет никакой, спят они до часу дня, дома не занимаются и постепенно забывают все, чему их учили когда-то, играть начинают хуже и если киксуют, то уже не конфузятся, а если фальшивят, то не слышат.

Но эти музыканты как-то сразу понравились нам.

У каждого из них было лицо, и играли они хорошо, и вещи, которые они играли, хотя бы и старые, вдруг казались как новые, и почему-то все выходило у них грустно.

Пианист был слеп, и у него, как у всех слепых, было неподвижное лицо. А этот, кроме всего, был еще худ, изящен, с бабочкой, и в темных французских очках. Локти, плечи, колени — все у него было нервное, острое, пальцы белые и длинные, сухие. Но лучше всего было лицо — аскетически худое, со страдальческими морщинами возле губ, со втянутыми щеками, запавшими висками, очень трагический профиль, и в тонких бледных губах постоянно тлела сигарета. Когда музыканты кончали номер и отдыхали, он откидывался, поднимал лицо и брал тихонько необыкновенные, сказочные по сложности аккорды и, как птица, слушал себя, и даже моряки за соседним столиком, уловив что-то необычное, замолкали, прислушивались.

Скрипач был чудовищно толст, пузат и маслянист, с вылупленными, как луковицы, глазами. Он постоянно улыбался, переступал, весь вытягивался к микрофону, закатывал глаза и играл с подъездами, сипло и неистово, как румын, и звук его скрипки, усиленный микрофоном, терзал сердце, и хотелось плакать и говорить, и пить, и чтобы рядом сидела смуглая прекрасная женщина, которая все понимает.

А гитарист с каменным, медалевидным профилем даже берета не снимал, сидел, вольно выставив ноги, тихо трогал свою гитару, к которой присоединен был динамик, и она у него пела чисто и звучно. И ни на кого не смотрел, а смотрел куда-то в стену, поверх голов, и вид у него был, как у орла в клетке, завороженно глядящего на ослепительный конус горной вершины.

Иногда он вставал, если заказывали песню, и, сделав шаг к микрофону, скосив глаза на тетрадку со словами, которая лежала на пульте, пел с бесстрастным лицом, еле шевеля губами, на иностранный манер выговаривая пошлые слова о том, как встретились мы в баре-ресторане. Скрипач в этот момент отступал в глубь эстрады, елозил смычком по баскам, шевелил пухлыми пальцами, пожирал глазами тот столик, который заказал песню, и сладко улыбался.

— А я бы взял в плавание этого — в берете,— сказал вдруг мой приятель и прищурился.— Смотри, какое лицо — с этим можно идти в разведку, а?

— Почему мне грустно, старик, скажи? — спросил я и стряхнул пепел с сигареты.— И зачем мы пошли к Чехову?

За соседним столиком моряки пили коктейль. Как всегда, они преувеличивали свою отрешенность от земли, девочки у них были с высокими круглыми прическами, крашеные, с загорелыми руками и шеями, и требовали себе мороженого и сухого вина. А моряки пили коктейль, который составляли из шампанского, пива и водки. Сперва в фужер наливали водку, потом смешивали с пивом и доливали шампанским. Потом чокались и пили, зажмурившись. Наверное им было противно, но они держали марку: коктейль все-таки.

— Видал? — спросил я.

Мой друг налил себе и мне коньяку.

— Выпьем за Чехова,— сказал он.— Как-то на меня это подействовало, знаешь. Раньше как-то не думал, а теперь понял: несчастный он был. Дом этот и вообще все — бадяга это. Какая тут жизнь? Ему Россия нужна была, он на Шпицберген все собирался съездить.

У меня сердце что-то болит, нельзя мне пить. Уехать бы нам куда-нибудь из этой Ялты, а, старик?

За соседним столиком не знали, о чем говорить, но молчать было нельзя, и вот один стал рассказывать анекдоты, другой достал блокнот, листал и с нетерпением ждал своей очереди.

— Вопрос армянскому радио,— говорил первый с акцентом.— Можно ли убить чэловэка газэтой? Атвэчаем: можно! Надо в газету завэрнуть утюг!

Девочки хохотали, курили и кашляли.

— А вот статистика любви,— среди хохота начинал другой и тут же кричал: — Слушайте! Тихо! Статистика любви: в одну минуту на всем земном шаре происходит три миллиона поцелуев!

— Брось! Ха-ха-ха! — закатывались девочки.

— Пять тысяч четыреста шестьдесят три женщины рожают! — кричал моряк.

— Сильно, а? — спросил я.

— Ты знаешь, чего я вспомнил,— сказал мой друг.— Мы раз ловили в Норвежском море на РТ-206, тебя тогда с нами не было, а я старпомом плавал. Штормяга был крепкий, декабрь, темно, волна шла с Атлантики неимоверная. А у нас в трюмах течь, дрейфуем, все время авралы, но не уходим, все думаем — вот кончится. Да где там — только разыгрывается. Душу выматывает, туман слоями идет, навалит — носа не видно. Десять дней штормовали, а на одиннадцатый у нас матрос один с ума сошел. Молоденький был, салака, вот и чокнулся. Прибегают ко мне ребята, кричат отчаянно: «Гляньте, товарищ старпом!» Я гляжу, а матрос этот по палубе в кальсонах и в тельнике бегает. Волной его заливает, бьет о лебедку, как только за борт не смыло! «Хватайте его»,— кричу. Навалились, схватили, а он орет, вы-

рывается... Вечером немного утих, пошел я на полубак. «Что с тобой?» — спрашиваю. «Знаете,— говорит,— товарищ старпом, ребята надо мной издеваются». — «Как же так?» — спрашиваю. «А так, — говорит, — лягу на койку, а они снизу меня шилом колют, я с ними не могу, я лучше за борт кинусь! Велите им меня не трогать!» Ну я на ребят смотрю, кричу: «Вы это что же, тра-та-та, да вы как это смеете, тра-та-та, да я вас, тра-та-та!» А он радуется, язык им показывает. «Вот,— говорю, — больше они не будут тебя колоть, будь спокоен, у нас на корабле дисциплина!» А сам ребятам тихонько сказал, чтоб глаз с него не спускали.

Еще два дня прошло, стало стихать. Встретился нам один траулер, домой шел, связались мы с Мурманском, оттуда приказывают — на берег его. Стали мы его пересаживать, а он не хочет. Ребята на хитрость пошли, говорят ему тихонько: «Давай скорей на тот! Тот новый, а у этого полны трюма воды, вот-вот дуба даст, потонет к чертям собачьим!» — «А! — говорит. — Тогда, ребята, давайте, скорей давайте!» — И покатил в Мурманск. А мы остались тресочку ловить...

— А что потом с ним стало, не знаешь? — спросил я.

— Вылечился, опять плавает. Я его встречал, хороший матрос.

— Да,— сказал я и закурил. — Давай выпьем!

В ресторане было светло, шумно, хлопало шампанское, кто-то в углу орал, ругался, его выводили. Музыканты играли себе, и скрипач, выворачивая белки, жадно глядел на столики, и если встречал чей-нибудь взгляд, начинал восторженно улыбаться. А музыка была грустная-грустная, гитарист, далеко растянув пальцы на грифе, глухо брал аккорды, гитара его зву-

чала, как электроорган, а пианист курил и откидывал горькое свое лицо в темных очках.

— Тихо! — кричал за соседним столиком моряк. — Шесть тысяч пятьсот женщин изменяют в минуту своим мужьям!

— Иди ты! — небрежно отвечали девочки. — А про вас там написано? Ну? Давай!

Моряк что-то прочел про себя, фыркнул и показал приятелю. Они загоготали, переглядываясь.

— Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? — спросил внезапно мой друг.

И я тотчас вспомнил Ленинград в декабре, туманно-морозные дни, солнце, красным шаром проступающее сквозь туман, черно-серебряный по утрам Исаакий... И как мой друг на другой день после знакомства приехал ко мне в гостиницу, был выпивши, весел, рассказывал, как прошел с караваном малых сейнеров по Великому Северному пути, как схватил ревмокардит и язву желудка и как, обманув врачей, опять плавает, и что за баба у них буфетчица на траулере. Потом мы еще выпили тут же у меня, потом он звонил своей подруге, потащил меня к ней, приехали, и он сразу в шинели лег на пол и сказал: «Пой! А я умру! И все». Подруга его любила петь, только голос у нее был сиплый, а я смотрел на них и завидовал им. Он тогда веселый был, радостный, все ждал чего-то замечательного, хоть и закрыли ему заграничную визу за какую-то грандиозную драку в Мурманске в ресторане «Арктика». Да и я начинал только плавать, говорил лишь о море, о Севере, имена Норденшельда, Нансена святые были для меня имена. Еще бы не помнить — веселое было время! И этот зимний Ленинград, его улицы, кафе, толкотня на Невском, пустота ночных площадей, пар

над каналами, снег на Медном Всаднике, тихие пасмурные утра в гостинице, когда тело звенит от сил и легкости и спрашиваешь себя: «Что мне сегодня предстоит такое хорошее?» И появления моего друга, уже неистового, с одной мыслью: гулять, гулять, пить, ехать к приятелям, к женщинам. И мы ехали, гуляли, много смеялись, кажется, все время смеялись, я хохотал, а друг мой только скалился, хохотать он и тогда не умел. Да, я тогда окончил Мореходку и начинал жить.

— А Наташу ты помнишь? — спросил мой друг, опуская глаза. Это была та его женщина, которая пела когда-то в зимнем Ленинграде.

— Ты это брось, — сказал я. — Брось, старик, а то и так тоска!

— А Мишку помнишь, длинного Мишку? Ты тогда, пьяный, сильно его презирал?

— Ну, помню,— сказал я.— Я потом его встречал, прекрасный парень оказался. Я дурак, а ты брось, не вспоминай ничего!

— Он погиб два года назад, в проливе Вилькицкого. Забыл тебе совсем сказать, я на его могиле был, когда в прошлом году на перегоне работал. Вот так, старик, а мы с тобой в Ялте коньячок лакаем.

— А! — сказал я.

И затосковал, а музыка наигрывала что-то печальное, и в голову почему-то все лезли три миллиона поцелуев в минуту. Это была такая страшная цифра, что как-то даже и не воображалось ничего, нельзя было осознать, почувствовать эти поцелуи, которыми в эту минуту занимались где-то у нас на громадном пространстве, и в Африке, и в Австралии, и в Польше... А вспоминались мне почему-то дикие фактории — все,

какие я видел на севере, острова, черные базальтовые скалы и ледяные купола, уходящие в фиолетовое арктическое небо, и изумрудные изломы ледников, синие тени в трещинах, вечные молчаливые чайки за кормой, вздохи машин, жар в котельных преисподнях, тесные кубрики, каюты, паровое тепло в рубках, сиплые низкие ревы пароходных гудков в тумане и безымянные по всему северу могилы, в которых коченеют ребята, и эти ребята никогда никого не поцелуют... Все это проходило, смешивалось, и было радостно, и холодно, и тоскливо одновременно.

— Эй, кореша! — окликнули нас с соседнего столика.— Извиняюсь, вы моряки будете? Будем здоровы!

И поднимаются к красным лицам мутные бокалы с водочно-шампанской бурдой.

— Будьте счастливы, попутного ветра! — отвечаем мы и тоже поднимаем свои рюмки.

Девочки оттуда во все глаза смотрят на нас, и нам уже нехорошо, что их только две, а не четыре, а то пересесть бы к ним и так же, как их ребята, травить какую-нибудь бадягу.

— Ты мне вот что скажи,— спросил меня друг.— Тебя женщины любят?

— Нет,— сказал я.— Я неинтересный. Все мне скучно. И вообще как-то так...

— А у меня все некрасивые,— сказал друг.—Мне на них везет. Я на них глядеть спокойно не могу, жалею. И они это чувствуют, собаки. А красивых у меня как-то, знаешь, не было. Странно это.

— Фиг с ней,— сказал я.— Красивая из тебя душу вынет. А так, видишь, душа на месте.

— А может, мне как раз надо, чтобы вынула? Может, я как раз хочу, чтоб было такое смертельное, что

ли, понимаешь? Чтобы я погорел на этом деле к чертям собачьим! А?

— Ничего, ничего,— сказал я.— Спокойно, старик! У тебя хоть некрасивые есть, а у меня ничего. А вот видишь, сижу, коньячок пью, музыку слушаю — и ничего.

— А какие бабы есть несчастные! — сказал мой друг и пригорюнился, подперся. — Мне их всех страшно жалко. Женщины все-таки. Они ведь нежные. У них животы очень нежные, знаешь?

— Брось! — сказал я.— Дай-ка лучше сигаретку, посидим, покурим, музычку послушаем. Мы же с тобой в отпуску. Нам надо отдыхать, салага ты скуластая!

В это время музыканты умолкают, скрипач кладет скрипку и смычок на стул, сходит с эстрады и идет мимо нашего столика. Он сошел будто бы только промяться, но я знаю — ждет, когда его кто-нибудь позовет и что-нибудь закажет из песен.

— Маэстро! — говорю я ему. — Вы здорово играете!

Скрипач тотчас подходит к нам.

— Разрешите? — спрашивает он как-то не по-русски и садится. Он разгорячен, потен, резко пахнет, как пахнут запаленные лошади, улыбается одновременно заискивающе и нагло, но в глубине его выпученных глаз дрожит что-то бесконечно смиренное, услужливое, покорное.— О да! — говорит он и кивает на эстраду.— Настоящие музыканты! Разрешите? — смотрит на коньяк.

Друг мой скалится и наливает ему.

— Попутного ветра! — говорит он так же, как и морякам.

Скрипач быстро пьет, причем лицо его ничего не выражает, только глаза влажнеют.

— Спасибо! — говорит он.— Что бы вы хотели послушать?

— Вы не русский? — спрашивает мой друг.

— Да, я итальянец, мы все итальянцы... — говорит скрипач и оглядывается на наших соседей моряков. Те радостно прислушиваются.

— Аллегро пиццикато! — говорит один из них. — Калор... рагацца модерато!

Девочки хохочут, скрипач тоже.

— Как же вы к нам попали? — спрашивает мой друг скрипача.

— О ля-ля! — машинально отвечает скрипач, дрожа белками, косясь, оглядывая весь зал, кивая кому-то. — Длинная история, еще в войну. Разрешите? — он сам наливает себе и пьет, не закусывая.

— Извиняюсь,— моряк с соседнего столика подходит, покачиваясь, с бокалом своей бурды.— Выпей, папаша! — он хлопает скрипача по жирной спине. — Виваче адажио, а? Ха-ха!.. Давай за здоровье моряков, ну?

— Спасибо! — говорит скрипач радостно и выпивает.

Моряк, довольный, отходит.

— Вы позволите, я угощу нашего пьяниста? — спрашивает скрипач.

— А гитарист?— Друг мой берется за бутылку.

— О, гитарист не пьет. Спасибо!— Скрипач поднимается на эстраду, дает рюмку пианисту и что-то говорит ему. Пианист поворачивается в нашу сторону — теперь мы видим его длинное острое лицо, сухой нос, губы, опущенные вниз, громадные французские темные очки. Пианист поднимает рюмку, как бы приветствуя весь зал, выпивает и тотчас закуривает новую сигарету.— Так что бы вы хотели послушать? — спрашивает опять скрипач, ставя на стол пустую рюмку.

Я сразу вспоминаю один полярный поселок, осень, которую я однажды там провел, и какое все там было деревянное, а кругом камни, мох и темная шумящая река. И как однажды приехали артисты и был концерт в недостроенном клубе. Там были только стены и крыша, и эстрада, потолка не было, видны были все балки. Электричества тоже не было, принесли много керосиновых ламп, зажгли возле эстрады, развесили на дощатых стенах. Но все равно в сарае был холодный полумрак, все сидели в одежде, курили, артисты мерзли, торопливо бормотали что-то, и это забылось, и только один номер был хорош.

Вышел аккордеонист и чечеточник. Чечеточник был тонкий, гибкий, в шерстяном черном трико и в белой рубашке с отложным воротником. И зазвучала вдруг французская шансонетка, такой вальсик, и чечеточник, изображая лицом и телом задумчивость, сложил на груди руки, бросил на лоб прядь темных волос, прикрыл глаза и даже голову склонил, и только ноги с фантастической неутомимостью и ритмичностью мелькали, подобно велосипедным спицам, и подошвы издавали однообразный стрекот «ч-ч-ч-ч-ч-ч», и звучала, звучала, звала куда-то, навевала теплую печаль эта самая французская песенка.

Чечеточника долго вызывали на бис, и он опять повторил тот же номер, потом выступали, кричали и орали, воображая, что поют, другие артисты, а мне стало хорошо, и я ушел, ходил один, напевал этот мотивчик, чтобы не забыть, и думал о любви и вообще о всех людях. И шел снег, а на другое утро все кругом было такого цвета, как гречневая каша с молоком, и только река была черная и дымилась.

И вот я вспомнил ту осень, и опять что-то встрепе-

нулось и заныло у меня на душе, я поглядел в глаза скрипачу и сказал:

— А знаете вы вот такую штуку... Я не знаю, как она называется, но в общем вот так: та-ра-ра-ра-а-там-там... А?

— О! — скрипач улыбнулся. — Конечно! Хорошо.

— Только подольше поиграйте, ладно? — попросил я.

— Хорошо.

Скрипач поднялся опять на эстраду, сказал тихо гитаристу и пианисту. Гитарист все так же равнодушно подстроил свою гитару, пианист сразу взял медленные два-три аккорда из этой песенки. Он будто остановил ритм, время, выхватил несколько созвучий и любовался ими, вслушивался и откидывал лицо. Скрипач тоже позудел, настраиваясь, и прозвучали всегда так волнующие меня пустые квинты. Гитарист стал возиться с динамиком, и тот у него уркал и завывал тихонько, а мы все ждали, ждали, и друг мой, хоть и не знал этой песенки, но по лицу моему понимал, что в ней для меня что-то необыкновенное, курил, пил коньяк мелкими глотками и опускал глаза.

Наконец заиграли, и вновь ударило меня по сердцу, и завертелось, закружилось, понеслось мимо — и та осень, и зима в Ленинграде, и вся моя жизнь на кораблях, все мечты, разочарования и грусть.

Я вспомнил о своей работе, о бессонных вахтах, о разговорах с друзьями, об опостылевшем море, куда нас опять почему-то тянет — стоит пожить на берегу недели две...

Я глядел кругом, будто проснувшись, и с удивлением думал, зачем мы здесь, и что с рук наших уже сходят мозоли, и что пора назад, на север — там скоро

весна, что мы прямо-таки отравлены этим проклятым севером, что и говорим-то мы все последние дни только о нем, и Чехов хотел на Шпицберген, и, наверное, поэтому нам так скучно.

И, думая обо всем этом, я поежился от сладкой печали, от любви к жизни, ко всем ее подаркам, все-таки и не очень редким, если припомнить.

— Ты что? — спросил у меня друг.

— Слушай, ты, морской волкодав,— сказал я ему,— я тебе расскажу кое-что, как я сидел на приколе в одном поселке на Кольском, хочешь?

— Валяй! — сказал друг и поерзал, устраиваясь поудобнее. И я рассказал ему о своей тогдашней жизни, как странно мне было напевать там вот эту песенку — и рассказывать мне было приятно.

Моряки за соседним столиком расплатились, взяли своих девочек и пошли к выходу, мы посмотрели им вслед.

Музыка кончилась, и как-то кончилось для нас одно настроение и началось другое. Нам захотелось домой. Мы допили коньяк и вышли. Маяк на молу мигал. Стоял и светился, как обычно, большой белый пароход, и на нем играла музыка, но совсем другая, чем мы только что слышали,— что-то маршеобразное и громкое.

Мы потолкались по набережной, посмотрели на женщин и пошли в магазин пить вино. Мы взяли сперва по стакану сладкого, оно было клейко и пахло горелым. После него захотелось чего-нибудь кисленького, и мы выпили еще сухого вина.

Друг мой заметно опьянел, настроение у него стало хорошее, он шел, выбрасывая в стороны ноги, и я знал, будь мы в Ленинграде или в Мурманске, сейчас бы

поехали куда-нибудь, оттуда опять бы поехали, и было бы все хорошо.

Мы остановились и поглядели друг на друга, что-то такое было в наших лицах и глазах, дьявольски смелое и большое.

— Слушай,— старательно выговаривая, сказал мне друг.— Что должен делать человек? В высшем смысле что он должен делать?

— Работать, наверно,— неуверенно предположил я.

— Это грандиозно! — сказал мой друг. — И мы работаем. И плевать нам в высшем смысле на всякие нежности. Пошли спать... Слушай, сколько нам еще осталось?

— Чего осталось?

— Быть в Ялте?

— Долго еще. Недели две.

— Так... Пошли спать, а завтра поедем в этот... как его?

— Куда?

— Как его?.. А! Да черт с ней, куда-нибудь!



ЗАПАХ ХЛЕБА

1

Телеграмму получили первого января. Дуся была на кухне, открывать пошел ее муж. С похмелья, в нижней рубахе, он неудержимо зевал, расписываясь и соображая, от кого бы это могло быть еще поздравление. Так, зевая, он и прочел эту корот-

кую скорбную телеграмму о смерти матери Дуси — семидесятилетней старухи в далекой деревне.

«Вот не вовремя!» — с испугом подумал он и позвал жену. Дуся не заплакала, только побледнела слегка, пошла в комнату, поправила скатерть и села. Муж мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил себе и выпил. Потом подумал, налил Дусе.

— Выпей! — сказал он. — Прямо черт ее знает, до чего башка трещит. Ох-хо-хо... Все там будем. Ты как — поедешь?

Дуся молчала, водя рукой по скатерти, потом выпила, пошла к постели, как слепая, и легла.

— Не знаю,— сказала она минуту спустя.

Муж подошел к Дусе, поглядел на ее круглое тело.

— Ну ладно... Что делать? Что ж будешь делать! — больше он не знал, что сказать, вернулся к столу и опять налил себе. Царство небесное, все там будем!

Целый день Дуся вяло ходила по квартире. Голова у нее болела, и в гости она не пошла. Она хотела поплакать, но плакать как-то не было охоты, было просто грустно. Мать свою Дуся не видела лет пятнадцать, из деревни уехала и того больше и никогда почти не вспоминала ничего из своей прошлой жизни. А если и вспоминалось, то больше из раннего детства или как провожали ее из клуба домой, когда была девушкой.

Дуся стала перебирать старые карточки и опять не могла заплакать: на всех карточках у матери было чужое напряженное лицо, выпученные глаза и опущенные по швам тяжелые темные руки.

Ночью, лежа в постели, Дуся долго говорила с мужем и сказала под конец:

— Не поеду! Куда ехать? Там теперь холодина... Да и барахло, какое есть, родня растащила уж небось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду!

2

Прошла зима, и Дуся вовсе позабыла о матери. Муж ее работал хорошо, жили они в свое удовольствие, и Дуся стала еще круглее и красивее.

Но в начале мая Дуся получила письмо от двоюродного племянника Миши. Письмо было написано под диктовку на листке в косую линейку. Миша передавал приветы от многочисленной родни и писал, что дом и вещи бабушкины целы, и чтобы Дуся обязательно приехала.

— Поезжай! — сказал муж. — Валяй! Особо не трясись, продай поскорее чего там есть. А то другие попользуются или колхозу все отойдет.

И Дуся поехала. Давно она не ездила, а ехать было порядочно. И она успела как следует насладиться дорогой, со многими поговорила и познакомилась.

Она послала телеграмму, что выезжает, но ее почему-то никто не встретил. Пришлось идти пешком, но и идти было Дусе в удовольствие. Дорога была плотна, накатана, а по сторонам расстилались родные смоленские поля с голубыми перелесками на горизонте.

В свою деревню Дуся пришла часа через три, остановилась на новом мосту через речку и посмотрела. Деревня сильно пообстроилась, расползлась вширь белыми фермами, так что и не узнать было. И Дусе эти перемены как-то не понравились.

Она шла по улице, остро вглядываясь во всех встречных, стараясь угадать, кто это. Но почти никого не

узнавала, зато ее многие признавали, останавливали и удивлялись, как она возмужала.

Сестра обрадовалась Дусе, всплакнула и побежала ставить самовар. Дуся стала доставать из сумки гостинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова заплакала и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлялся, почему они плачут.

Сестры сели пить чай, и Дуся узнала, что многое из вещей разобрали родные. Скотину — поросенка, трех ярочек, козу и кур — взяла себе сестра. Дуся сперва пожалела втайне, но потом забыла, тем более, что многое осталось, а главное, остался дом. Напившись чаю и наговорившись, сестры пошли смотреть дом.

Усадьба была распахана, и Дуся удивилась, но сестра сказала, что распахали соседи, чтобы не пропадала земля. А дом показался Дусе совсем не таким большим, каким она его помнила.

Окна были забиты досками, на дверях висел замок. Сестра долго отмыкала его, потом пробовала Дуся, потом опять сестра, и обе успели замучиться, пока открыли.

В доме было темно, свет еле пробивался сквозь доски. Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом, и у Дуси забилось сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привыкая к сумеркам: потолок был низок, темно-коричнев. Фотографии еще висели на стенах, но икон, кроме одной, нестоящей, уже не было. Не было и вышивок на печи и на сундуках.

Оставшись одна, Дуся открыла сундук — запахло матерью. В сундуке лежали старушечьи темные юбки, сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила все это, посмотрела, потом еще раз обошла дом, заглянула на

пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно ей все это приснилось и теперь она вернулась в свой сон.

3

Услышав о распродаже, к Дусе стали приходить соседки. Они тщательно рассматривали, щупали каждую вещь, но Дуся просила дешево, и вещи раскупали быстро.

Главное был дом! Дуся справилась о ценах на дома и удивилась и обрадовалась, как на них поднялась цена. На дом нашлось сразу трое покупателей — двое из этой же и один из соседней деревни. Но Дуся не сразу продала, она все беспокоилась, что от матери остались деньги. Она искала их дня три: выстукивала стены, прощупывала матрацы, лазила в подполье и на чердак, но так ничего и не нашла.

Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она привезла сестре еще гостинцев и стала собираться в Москву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собралась навестить могилу матери. Провожать ее пошел Миша.

Денек было замглился во второй половине, посоловел, но к вечеру тучи разошлись, и только на горизонте, в той стороне, куда шли Дуся и Миша, висела еще гряда пепельно-розовых облаков. Она была так далека и неясна, что, казалось, стояла позади солнца.

Река километрах в двух от деревни делала крутую петлю, и в этой петле, на правом высоком берегу, как на полуострове, был погост. Когда-то он был окружен кирпичной стеной, и въезжали через высокие арочные ворота. Но после войны разбитую стену разобрали на

постройки, оставив почему-то одни ворота, и тропинки на погост бежали со всех сторон.

Дорогой Дуся расспрашивала Мишу о школе, о трудоднях, о председателе, об урожаях и была ровна и спокойна. Но вот показался старый погост, красно освещенный низким солнцем. По краям его, там, где когда-то была ограда, где росли кусты шиповника, были особенно старые могилы, которые давно потеряли вид могил. А рядом с ними виднелись в кустах свежевыкрашенные ограды с невысокими деревянными обелисками — братские могилы...

Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, налево — среди распускающихся берез, среди остро пахнущих кустов, и Дуся все бледнела, и рот у нее приоткрывался.

— Вон бабушкина... — сказал Миша, и Дуся увидела осевший холмик, покрытый редкой острой травкой. Сквозь травку виден был суглинок. Небольшой сизый крест, не подправленный с зимы, стоял уже косо.

Дуся совсем побелела, и вдруг будто нож всадили ей под грудь, туда, где сердце. Такая черная тоска ударила ей в душу, так она задохнулась, затряслась, так неистово закричала, упала и поползла к могиле на коленях и так зарыдала неизвестно откуда пришедшими к ней словами, что Миша испугался.

— У-у-у,— низко выла Дуся, упав лицом на могилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю.— Матушка моя бесценная... Матушка моя родная, ненаглядная... У-у-у... Ах, и не свидимся же мы с тобой на этом свете никогда, никогда! Как же я без тебя жить-то буду, кто меня приласкает, кто меня успокоит? Матушка, матушка, да что же это ты наделала?

— Тетя Дуся... тетя Дуся,— хныкал от страха Миша

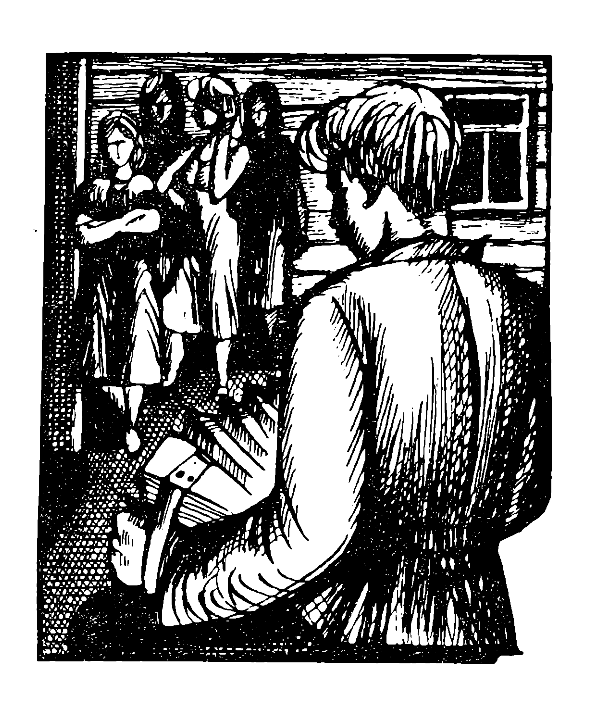
и дергал ее за рукав. А когда Дуся, захрипев, стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша припустил в деревню.

Через час, уже в глубоких сумерках, к Дусе прибежали из деревни. Она лежала все там же, совсем обеспамятевшая, и не могла уже плакать, не могла ни говорить, ни думать, только стонала сквозь стиснутые зубы. Лицо ее было черно от земли и страшно.

Ее подняли, натерли ей виски, стали успокаивать, уговаривать, повели домой, а она ничего не понимала, глядела на всех огромными распухшими глазами — жизнь казалась ей ночью. Когда ее привели к сестре в дом, она свалилась на кровать — еле дошла и мгновенно уснула.

На другой день, совсем собравшись уезжать в Москву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства.

Так она и уехала, веселой и ровной, подарив еще Мише десять рублей. А через две недели дом матери-старухи открыли, вымыли полы, привезли вещи, и стали в нем жить новые люди.



НОЧЛЕГ

— Ну давай сходим, Никита! — просил Илюша и клал руку Никите на плечо, смотрел в окно куда-то по деревне, и когда он так клал руку, выходило, что он не один смотрел, а вроде бы вместе с другом.— Давай, Никита, а?

А еще час назад Илюша был замучен, шли они болотами двадцать километров, и под конец Никита все чаще останавливался и глядел назад, в су-

мерки долгого весеннего вечера, в тончайшую пелену тумана, покуда в этом тумане не определилась фигура — тонкая и длинная, с головой понуро свернутой набок, слышалось усиленное чавканье сапог, и Никита только вздыхал от жалости.

Но когда пришли в деревню, когда договорились о ночлеге в избе, в которой жили старик со старухой, Илюша свалил в угол рюкзак, сел к окну, закурил, стащил — нога об ногу — сапоги, вытянулся, поглядел в окно, и глаза его заблестели.

Старика не слыхать было, старуха накрывала на стол, говорила о чем-то с пятого на десятое. Илюша старуху не слушал, спрашивал иногда о хозяйстве, и вопросы его были какие-то дикие, на все повторял почему-то «спасибочки» — и встрепенулся, и особенно поглядел на Никиту, когда узнал, что сегодня в клубе танцы.

...Стояла на севере самая ранняя весна — та пора, когда ночи уже тлеют, истекают светом по горизонту, когда березы еще голы, когда на многие километры слышно, как однообразно напряженно играют, гулькают тетерева, а снег еще только сошел, все залито полой водой, и часа в четыре солнце уже высоко и греет вовсю.

В одно такое утро Илюша и Никита и двинулись в обратный путь. Были они геологи-однокурсники, бродяги и поэты, как они сами себя называли, и как пелось об этом в их же песнях. Три месяца, еще с зимы, проработали они далеко в болотах, в партии, потом срок их кончился, они собрались быстро, выпили накануне у костра, спели свои песни, записали все поручения, а утром перебудили всех, потискали руки на прощанье, глянули уже как-то отдаленно на буровую

вышку, на дощатые сарайчики, фургоны, палатки, на трактора — и пошли...

Им надо было ночевать в этой деревне на берегу необозримого озера, а завтра в три вставать, спускаться на пристань и ехать на катере связи на другую сторону — в город, а оттуда уже в Москву, на поезде.

Все было прекрасно, только Никите хотелось спать, и он думал, что все-таки в три часа вставать, но Илюша все не отставал, все просил:

— Ну, Никита, ну дорогой, пойдем, посмотрим! — а сам уже и штормовку скинул, натянул мокасины, замшевый спереди джемпер и побрился, и сигареты американские достал из рюкзака, которые берег специально до того времени, когда будет ехать в Москву и сидеть в вагоне-ресторане.

И как только запахло в избе приторно-сладким заграничным дымком и одеколоном, Никита тоже не выдержал, нацедил кипятку, побрился, тоже надел свежую рубашку, и они вышли — даже плечами в сенях столкнулись.

Ребят в клубе было мало, больше девчат, и девчата показались Никите и Илюше прекрасными, какие-то синеглазые, в веснушках, крепкие и веселые. Как рассеянно сразу заулыбался Илюша, как нарочито скромно, чуть сутулясь — руки в карманы,— мелким шагом пошел в угол, как бы говоря: «Не беспокойтесь, что вы!», как округлил, выкатил глаза и как стал сразу оглядывать девчат! И Никита тоже заволновался, понюхал, сразу уловил запах пудры и губной помады, запах горячего женского тела, сразу вспомнил редкие и давние свои вечера в таких же клубах и неизменный грубоватый и в то же время многое обещающий вопрос «Разрешите?», и допотопные, каких больше нигде

не играют, кроме как в глухих деревнях, вальсы и польки на баяне, и топоток ног, и крыльцо потом, шум и возню ребятишек в темных сенях — и подобрался, закаменел некрасивым своим лицом и с привычной завистью подумал об Илюше, что опять тот выберет себе лучшую, а ему достанется какая-нибудь...

Заиграл баянист, начались танцы, и сначала танцевали одни девчата, ребята все стояли в углу, покуривали, похохатывали, а окна все светились закатом, хоть и бледнели, синели уже. Но света не зажигали.

И тут же к Никите и Илюше подошел парень, а был он стрижен по затылку и вискам чуть не наголо, добела, зато золотистый кудрявый чуб стоял дыбом и водопадом валился на сторону, и был он в шелковой тенниске, в широких брюках, вправленных в сапоги гармошкой, в пиджаке внакидку, и пахло от него одеколоном, бензином и водкой. Он нагнулся и, поглядывая по сторонам, заговорил культурно, тихо:

— Вы, ребята, вот чего... Вы, я вижу, народ культурный — так чтобы все у нас в ажуре было, кого не надо — не трогайте, ясно? Кого себе возьмете на прицел, меня пригласите, я вам скажу, с ними можно или нет. Это чтобы, культурно сказать, какая с кем уже гуляет, а вам неизвестно, так ребята обидеться могут. Нехорошо может произойти. Ясно? Ну и действуйте, извините, а я с вами культурно.

И отошел, а баянист играл, перебирал, склонял голову, и Илюша, уже смело поглядывая на ребят, улыбаясь им, как будто он не один, а вместе с ними, — уже танцевал, уже говорил что-то какой-то девчонке, приближался к ней, отстранялся и опять, кругля глаза, поглядывая по клубу и на ребят в углу, будто он все

это не для себя делал, а для них, для всех, кто там был.

А потанцевавши, сел — весь другой, новый, нежный какой-то, тихий, обнял Никиту, забормотал: «Никита, Никита... А? Хорошо, а?» — а сам смотрел все на ту девчонку, с которой только что танцевал, широко, щедро улыбался, и видно было, что он счастлив и про все забыл,— забыл, как работал, забыл, как по болоту шел, забыл, что впереди и что было позади, а только этот нежный, тихий, брезжущий свет по окнам, только этот баян, этот клуб с нечистым полом, эти девчата — одни были для него теперь.

Ребята вдруг стали выходить вон, а давешний парень серьезно мигнул Никите с Илюшей, мотнул головой на выход, раз и другой, и не выходил, пока Никита с Илюшей не встали и не подошли к нему.

— А ну, выйдем! — тихо, серьезно сказал парень, водя глазами по сторонам, и пошел, и Никита с Илюшей, сразу испугавшись, двинулись за ним. Вышли на крыльцо и увидели, что все уже зашли за угол, стоят, покуривают, ждут их. «Сейчас бить будут!» — холодея подумал Никита.

— Ребята! Вы как насчет выпить? — весело, заговорщицки предложил им, как только они подошли.

Илюша сразу опять заулыбался и округлил глаза. Никита сказал: «А» — и передохнул, и голос у него был какой-то не свой, и еще почувствовал, что весь вспотел, лицо и шея вспотели, вытащил платок и стал утираться.

— А можно? Магазин открыт?

Оказалось, что можно, магазин закрыт, а у продавщицы дома есть. Водки нет, а есть спирт. И тут же сложились на спирт, и кто-то побежал, а через пять минут и стаканы появились, и вода, и потом все они —

человек восемь,— дружно пили возле глухой стены клуба разведенный спирт, закусывали окаменевшими мятными пряниками, и Илюша угощал всех сигаретами; все недоверчиво курили, нюхали сладкий дымок и говорили о тракторах, о зарплате, о нормах, о геологах, о том, что в прошлом году тоже работала недалеко от них экспедиция, и ребята ходили к ним в гости, на танцы и в кино, и что ничего, какие все были хорошие ребята, ленинградцы.

И баянист выскочил, сам почуял или кто ему сказал, выскочил, тоже приложился, спросил про какого-то Мишку, курнул, вернулся в клуб, а за ним и все потянулись — уже горячие, веселые, смелые, и как-то уютнее, милее стало в клубе, и музыка лучше, и грустно как-то было, хорошо и жалко, что один вечер только у них, и Никита думал, что всегда, всегда так — один вечер, одна ночь, а жалко, и уже больше ничего похожего не будет, вернее, похожее будет, а вот точно такого никогда уже не будет, и это помнится потом долго. Ах, как жалко!

С непривычки он опьянел, но не плохо, не тяжело, а горячо, все ему нравились, и когда Илюша потанцевал, поговорив с той же девчонкой, подозвал его к себе знакомить с ней и с ее подругой, они обе так ему понравились, что он сначала и разобрать не мог, какая лучше и какая же его, а какая — Илюши.

Илюша что-то говорил, ворковал, понизив голос, смотря пристально то на одну, то на другую. А говорил он обыкновенное, что всегда говорится в таких случаях, первое попавшееся, что, как жалко, как ужасно, что у них в партии не было таких девочек — а то жизнь в болотах была бы сказкой, и почему они не хотят стать геологами: все геологи — романтики и поэты, и тому

подобное, пустое. Но Никите все нравилось, и все было правдой, потому что он в эту минуту забыл тоже про сырость, холод и грязь, и ругань, и тоску, и только горячо подхватывал: «Конечно!», «Еще как!»

И они танцевали, а в перерывах говорили и старались острить, чтобы рассмешить девочек, чтобы было весело, а потом вышли и сначала постояли вместе, а потом разошлись — каждый в другую сторону, каждый со своей девочкой... Никита, когда Илюша ушел, скрылся,— Никита примолк, ему как-то неловко стало, он забыл, как звать эту, что шла с ним. Потом спросил. Оказалось, звать Ниной.

— А, Нина... Ниночка... — забормотал он, стараясь опять попасть в давешнее легкое настроение.— Как я не знал, что вы есть на свете...

Дальше у него не выходило, он перестал улыбаться, почувствовал, как у него устало лицо от улыбки и что опьянение — первое, горячее — прошло, взял ее под руку, попробовал было обнять ее на ходу, но та не далась, и Никита совсем опомнился. «Все ясно,— подумал он,— ей Илюша понравился, а пришлось со мной идти. Все ясно!»

Да, наверное, он ей не нравился. А может быть, она думала, что, зачем ей это, вот он приехал, появился откуда-то на одну ночь и уедет, а она останется, так зачем же ей одна-то ночь.

Она не прощалась, не уходила, но и не становилась оживленнее, а была, как каменная — синеглазая, налитая, крепкая, пахучая и пахло от нее бесхитростно: пудрой, женщиной, молоком, деревней. И она была еще замкнутая, далекая. Был ли кто-нибудь в ее жизни, что она думала о любви? «Наверно, солдат какой-нибудь есть,— думал Никита. — Переписываются!»

Прошел где-то вдали баянист с девчатами, шли по домам, и баянист еще наигрывал вологодские страдания, а девчата подпевали. Потом все угомонилось, успокоилось, и хоть было уже часов двенадцать, на севере еще сочился светло-зеленый омут света с багровой каемкой по горизонту, поблескивали стекла изб, а крыши, восточные их скаты, были черные, как нарисованные сажей.

Никита еще пробовал говорить, она отмалчивалась... Они медленно прошли мимо бревенчатых глухих стен, изгородей и бань, вышли к обрыву над озером и сели на лавку под березой. Перед ними, будто налитое воздухом, простиралось громадное пространство озера. Оно не темно было и не светло, не имело цвета, не имело границ... Только в двух отдаленнейших местах, как бы в космосе, мигали вперемежку маяки, и уже где-то совсем далеко, в неверном восточном сумраке переливались, вспыхивали и потухали, как мелкие звезды, огни районного центра на противоположном берегу.

«А ведь надо спать! — совсем трезво подумал Никита.— Где же эта наша изба?»

В эту самую минуту на озере неизвестно где, возник упругий, вроде бы негромкий, но в то же время и мощный звук, похожий на «Уыыыыыыпппп!» — и не ослабевая, а даже как бы усиливаясь, со стоном, со вздохами стал кататься по озеру, уходить и возвращаться.

— Что это? — быстро спросил Никита, чувствуя, как тоскливо дрогнуло у него сердце и холод пошел по всему телу.— А? Что это?

— А-а!.. — отдаленно отозвалась она.— Это воздух... Это воздух замерзает зимой на дне, а весной выходит. И нипочем не угадаешь, где звук, а так везде...

Эта протяженность, эта нежная отдаленность ее голоса так непохожи были на ее замкнутый, каменный вид, что Никита опять обнял ее, но она вскочила и уже больше не садилась, а стояла в двух шагах от лавки, сцепив руки на подоле, полуотвернувшись, глядя на озеро.

— Ну что ж, раз так — гуд бай, спокойной ночи! — сказал грубовато Никита.

Как же радостно подала она ему свою шершавую ладошку, как повернулась, как быстро пошла, а потом и побежала по мосткам, закидывая на стороны крепкие светлые икры! А Никита посидел еще некоторое время, покряхтел, покашлял от стыда, закурил, и хоть ему сперва стыдно и нехорошо было от неудачи— потом забыл про все, остыл и только глядел на озеро, направо и налево, и уже стал замечать тончайшие перламутровые облачка высоко наверху и три обвисших паруса на неподвижных, заштилевших лодках, и когда из какого-то заливчика, примерно в километре от деревни, стал выгребать рыбак на лодке, явственно расслышал скрип уключин. «Уыыыыыыпппп!» — опять раздался тот же звук, будто водяной простонал, и это, как большое медное колесо, долго катилось по неподвижной воде.

А когда, поплутав в изгородях и дворах, Никита нашел свою избу, Илюша был уже дома, сидел спиной к раскрытому окну и говорил о чем-то со старухой. Увидев Никиту, Илюша заулыбался, обрадовался, будто они бог знает когда расстались и, по своей привычке проводя ладонью по губам, сразу спросил:

— Ну как, а? Никита, ну как, правда?— глаза у него были круглые, но спрашивал он так, будто поощрял и осуждал одновременно, как, бывает, отец сына.

Никита не ответил, повел плечом только, сел на

лавку рядом и стал следить щурясь за старухой, слушая, как шумит самовар на кухне, и думая, скоро ли чай и можно будет ложиться спать.

Илюша сразу все понял, что у Никиты неудача, провел ладонью по губам и приспустил серьезно веки.

— Ну, ну, ну... Ну, Никита, прости, прости... — и длинной рукой нежно коснулся его плеча, и завиноватился как-то. Илюша, когда бывал смущен, начинал как-то приборматывать, повторяя слова. — Но согласись, согласись... Согласись, слушай, грандиозный вечер, а? А, Никита? А спиртик, спиртик — тебе, тебе понравился?

— Ничего, нормально,— кисло сказал Никита и зевнул.— Проспим мы...

— Не проспим, не проспим... Никита, ты, ты... на кровать ляжешь? Я же знаю, знаю — ты любишь мягкое. Ты устал, устал... На кровати, хорошо?

И он зачем-то повернулся, согнул свою длинную шею, высунулся за окно и поглядел по сторонам.

А возле печи, в темноте, там, где должен был спать Никита, за перегородкой, за занавеской — послышалось вдруг кряхтенье, потом стали грабать рукой по занавеске, откидывая ее, и показался старик. Он ни на кого не смотрел — смотрел перед собой, шел, редко и мелко переставляя ноги, вытянув руку, другой рукой еще придерживаясь за косяк. Был он страшен, черен, с лиловыми веками, весь зарос сивой щетиной, был еще брит по голове, и шишковатая голова тоже была в грязной, редкой щетине. Глаза у него провалились, лицо при каждом шаге кривилось, и видно было, что ему невмоготу перейти открытое пространство, не придерживаясь ни за что. Никита было встал поддержать его, но старик враждебно и твердо сказал:

— Сядь! Я сам...— и со стоном и кряхтеньем продолжал свой путь.

Наконец он умостился за столом, долго молчал, смотрел на лампу, тер щеки, потом спросил:

— Экспедиция?

— Экспедиция...— поторопился сказать Никита.— Геологи.

— Типятку дай!— помолчав, твердо приказал старик.

— Чего?— не понял Никита.

— Типятку! Типятку, я говорю, дай!— сердито повторил старик.— Вон в горке, я говорю, типяток!

— В какой горке?— краснея от напряжения понять, спросил Никита.

Илюша высунулся в окно, шумно курил, дул дымом, будто любовался природой.

— Вода кипяченая там в шкафчике за стеклом у него! — крикнула из кухни расслышавшая старуха.

— А!— облегченно сказал Никита и подал старику банку с желтоватой кипяченой водой.

Старик стал пить. Он сопел, глотал, дышал носом в банку, но не оторвался, пока не допил.

— Мать, а мать!— крикнул он, отдышавшись.— Самовар когда?

— Несу! — отозвалась старуха и действительно внесла шумящий самовар.

— Кружку мою!— приказал старик.

Старуха поставила перед ним большую эмалированную белую кружку.

— Налей!— сказал старик.— Постой! Мать, а иде у меня водка?

— Так ее и нету, днем-то сам всю выдул...

— А ты дай, дай! Водку дай, я говорю!— крикнул старик страдальчески.

Старуха сердито достала ему из горки бутылку.

— Гм...— старик посмотрел водку на свет.— Гм! Мало. Не стану! Убери! Завтра допью.

И стал пить чай.

— Дедушка, а что у вас с ногами?— спросил, помолчав, Никита.

— Совсем заболел,— грустно, задумчиво сказал старик.— По колени ноги болят. Ступить нельзя. Ляжки ничего, не болят ляжки-то, а ниже колен...

— А что врачи говорят?

Старик ничего не ответил, усиленно и хмуро хлебнул чай.

— Какие врачи,— ласково сказала из другой комнаты старуха.— Врачи ему теперь ничего не поделают. Восемьдесят ведь первый ему...— Она вышла на свет, села на лавку сбоку старика и весело улыбнулась.— Совсем помирает старый-то мой... Да и то — пожил! Восемьдесят годов.

— Чаю мне еще!— буркнул старик. — Табак-то у меня иде?— спросил он, проследив, как ему наливали чай.

— Какой тебе еще табак!— живо возразила старуха.— И не думай, не дам!

Старик наклонил голову, некоторое время молча смотрел на клеенку, потом взялся за кружку.

— Горе одно с этим табаком,— сказала старуха.— Как закурит, так и почнет кашлять, спать не дает... И так спит плохо. Кричит больно во сне, сны ему снятся...— Старуха усмехнулась.— Влазит в него ночью. Вот он и орет.

Старик допил вторую кружку, посидел, подумал.

— Время сколько? — спросил он, ни на кого не глядя.

— Одиннадцать, — сказал Никита.

— Спать пойду, пусти! — сказал старик старухе.

— Дойдешь сам-то?

— Дойду, пусти!

Он мучительно встал, постоял немного, перебирая напряженными пальцами по столу, будто собираясь с духом, потом, вытянув вперед руку, осторожно стал переходить избу. Дошел до притолоки, торопливо оперся, постоял там и начал, держась за печь, двигаться к лежанке. Потом долго взбирался на печь, кряхтел, охал, наконец лег и затих.

Старуха убрала со стола, зевая, ушла к себе, и там у нее долго скрипела кровать. Илюша постлал себе какие-то дождевики и вытертые полушубки на широкой лавке под окном, положил в голову телогрейку. Никита как бы видел и не видел ничего, судорожно зевал, торопливо накуривался перед сном. Он соображал, зачем это Илюша лег возле окна, зачем не закрывает окно, и его такая особенная, хищная какая-то улыбка и нетерпение, и он сам где-то не здесь, в избе, а далеко — но и думать об этом уже невмоготу было, мысли мешались. Он быстро докурил, сплюнул в окно, посмотрел — все было видно, все избы и озеро, и туман на берегу, тонкая пелена, а Илюша тем временем уже лег, закрыл глаза, тихо дышал...

Никита пошел к себе за стенку, нащупал в темноте кровать, повалился, сразу услышал, как дурно пахнут подушка и одеяло, успел только подсунуть ладонь под щеку, и сразу поплыло перед ним болото, закачалась топь, потянулась деревянная тропа, а по сторонам грозно и загадочно раздавалось «Уыыыыыыпппп!..» Он

еще не понимал, почему болото и куда он идет, а сам уже жадно спал.

Проснулся он от крика.

— А-а-а! О-о-о!— кричал на печке старик.

«Что это? Почему я во тьме? А, старик!»— вспомнил Никита и тут же услышал тихие голоса за перегородкой, скрип лавки, даже в стену избы стукало что-то.

— Да лезь же ты!— напряженно шептал Илюша.— Кому говорят, ну! Скорей... Ух, черт, тя-жел-ая!

— Обожди, обожди...— шептала она.— Руки пусти, слышь! Пусти, больно! Да влезу я, влезу! Там вон старик орет, может, помирает...

— Не помрет... Давай, давай!

— Да больно же! Офонарел ты? Руку пусти — коленку поставлю. А друг твой спит?

— Спит, спит... Давай... Тихо! Вот так...

— А-а-а! О-о-о! Пусти! Пусти — твою мать!— заорал, задыхаясь, на печи старик.

У Никиты стало холодно в животе, сердце колотилось, но и сон душил его, навивался. «Сволочь! — думал Никита, засыпая.— Плевать! Счастливый... Победитель! Не в этом главное».— И он стал думать что-то очень хорошее про себя, как он кого-нибудь встретит, и тогда будет не то что здесь, а это так — бадяга, а не любовь, сука этот Илюша, подонок! И он уже ничего не слыхал больше.

И еще раз он проснулся — на стене, на темных бревнах над его кроватью был желтый квадрат света, и ему показалось, что лучи идут по избе мимо печи и упираются в стену над ним. «Солнце встало!— испугался он спросонок.— Проспали!»— посмотрел на часы, но не мог разобрать: одна стрелка стояла на четыре, другая возле часу.

Он поднял голову, поморгал — старик зажег лампу на кухне, лампа стояла на столе, а старик, вытянув руку, кряхтя, двигался куда-то. Никита поднялся, затопал босой к лампе, поглядел на часы — было двадцать минут второго. «А! Спать, спать...» — подумалось ему, и он, качаясь, словно пьяный, цепляясь за печь, добрел до кровати, опять повалился и тут же, как ему показалось, проснулся от грохота.

После грохота была тьма, хриплый стон из тьмы и потом голос старика.

— Мать! А мать... Иди скорея! Ма-а-ать!— вдруг заорал он отчаянно.

— Чего, чего ты... Иде ты? Чего там?— забормотала старуха со своей кровати.

— Иди скорея... твою мать!— злобно визгливо кричал старик.— Иди, я в тару упал, встать не могу...

«В какую тару? В какую тару? О черт, ну и ночлег достался!» — подумал Никита, окончательно проснувшись.

Старуха уже шла ощупью к печке. Она дошла, все время спрашивая: «Иде ты?» — и старик каждый раз подавал ей голос в ответ. И началось там у них какое-то сопенье, начался громкий старческий говор, когда старикам нет дела, что кто-то спит у них, ни до кого им, до себя только, когда они где-то далеко-далеко, в своих годах.

— Бродило, бродило ты старый,— кричала во тьме старуха.— Чудо ты ночное, и кто тебе велел слезать-то?

— Три кружки...— говорил в ответ старик с усилием,— три кружки чаю выпил... Выпил, это-то меня и смутило...

И закряхтел, застонал, задышал, а старуха, видно, подпихивала его снизу, кричала:

— Ногу-то, ногу куда прешь! Сюды вот на приступ-

ку ставь, руками-то цапайся, цапайся, ползи-и! Ползешь?

— Ползу-у!..

А ночь между тем длилась. Никита не мог уже спать, и не старик со старухой растревожили его, а то, что происходило за перегородкой, и как там смеялись, прыскали, и он понимал, что они слушают стариков и им смешно, что старик упал в «тару», но им еще и не потому смешно, а так просто, потому что они не спят, как он, в душной темноте, а лежат вместе в ночном слабом свете. Вот, значит, как. Им весело! Как это у Пушкина? Ах, да как же это? А! Вот как: «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи...» Вот она и пришла к нему, уж он-то знает свое дело, а в клуб поэтому пошел. Пошел бы он в клуб просто так! А он пошел, и все у него вышло, а потом ждал, чай пил и ждал, курил, «спасибочки» говорил. «Никита,— говорил,— милый, грандиозно, и разные слова, а сам знал и ждал, и она, наверно, ждала где-нибудь там,— ну, я не знаю!— где-нибудь на огородах, за баней, когда же погаснет свет, когда все заснут, чтобы прийти. У, шалашевка! А он потом говорит где-нибудь в компании, ноги свои длинные вытянет и говорит о себе: «Я не умею,— говорит, я просто теряюсь, я робкий, вот Никите везет!» — ах ты сука, гад!.. Бедная старуха, бедный старик — не дай бог дожить до такой старости, о-о, не дай, не дай бог. А они прощаются? Спишетесь? Хрен он тебе напишет, дура ты третичная! Написал один такой... «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи»! — вот так, дура, это не кто-нибудь сказал,— Пушкин сказал... Не дали поспать, черти, уже на пристань идти надо.

Он поднял голову и поглядел под занавеску, на пол. Было совсем светло.

— Илюша!— позвал он.

Илюша молчал.

— Слушай, который час?

— А? Никита? Что ты, милый? Ты проснулся?

— Давно уже!— сердито сказал Никита и посопел:— Который час?

— Без четверти три...

— Надо идти.

— Да, да...— Илюша зевнул.— Ах, сейчас поспать бы! Ну — идти так идти... Чай не будем пить?

Через десять минут они подходили уже к пристани. На катере давно собрался народ — бабы с бидонами, с кошелками, девчата в надвинутых козырьком платках, два-три парня. Все сидели на корме, молча смотрели на озеро. Северо-восток уже горел, уже казалось, что там встают световые дрожащие столбы, деревня была освещена, и стены и крыши были бледны. Вдали по озеру двигались лодки, люди в них там наклонялись и наклонялись, играла рыба... «Уыыыыыыпппп!» — вздохнуло опять неизвестно где, и все посмотрели на озеро, но в разные стороны, потому что никто не понял, в каком месте раздался этот загадочный звук.

Кого-то ждали, матрос заглянул в рубку, ему что-то сказали там, и он побежал наверх по берегу, скрылся и закричал, а ему тоже отвечали криком издали. Потом матрос показался с парнем — тащили плоские коробки с кинолентами. Скоро загудел дизель, и за бортом зафыркала вода.

Катер тронулся, косо, боком пошел от берега, и ветерок тронул лица холодом. Скоро стал виден весь плоский берег и вся деревня. Илюша — теплый, усталый, ласковый — положил руку на плечо Никите и с широкой улыбкой глядел на деревню, будто надеялся

увидеть что-то. И опять улыбка его была не для себя только, но и для всех, будто все вместе с ним тоже глядели на деревню и искали что-то. Но никто не глядел назад, наоборот, смотрели все на озеро, на рассвет, на далеких рыбаков, следили за утками. А утки уже летали вовсю, присаживались стайками на воду, а вода были светла, и чем дальше к горизонту, тем светлее и воздушнее, и дальше стайки уток, казалось, плавают по воздуху.

— А? Никита? — сказал Илюша, восхищенно глядя на Никиту. — Грандиозно, а? Я тебя страшно люблю, Никита!

В лице Илюши что-то дрогнуло, он подумал секунду и вдруг поцеловал Никиту очень нежно, слабо и почему-то за ухо.

Никита освободился из-под руки Илюши, подошел к борту, поглядел на шипящую, вываливающуюся из-под носа волну и хмуро закурил. Он ненавидел Илюшу, но знал, что это потом пройдет и он опять будет его любить — такой тот был нежный, когда хотел. И он знал еще, что все это ему потом вспомнится — и клуб, и озеро, и эти северные девчата, и как он пил спирт за углом, как ему было хорошо, как все-таки хорошо, — вот старику плохо, бедный, бедный старик, — а ему хорошо.



НЕКРАСИВАЯ

Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист все играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, и на окнах еще висели неугомонные ребята.

Много было выпито и съедено, много пролито слез, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставилась еще водка и закуска, гармониста сменял патефон с фокстротами и танго, топот и присядку — шарканье подошв, и веселье не убывало, все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле и у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в Подворье гуляют.

Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос ее покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, оттого, что никто ее не замечает, что всем весело, все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать.

Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За два года почти все подруги ее вышли замуж, а у нее за это время еще больше поблекло лицо и похудела спина.

И вот ее, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: «Горько!» — и ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет.

Ее познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и чер-

ными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела все, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее выразителен и полон интимной нежности.

Но Николай почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумленно озирался кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся.

Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых, пьяных, потных, презирала и жалела себя.

Недавно она сшила платье, очень хорошее темно-синее платье. Все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и все осталось, как было...

Часа в три ночи Соня, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда — на крыльцо.

Избы стояли черные. Деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и топот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей.

У Сони задрожал подбородок. Она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок. Но ее никто не слышал. «Ну, довольно!— говорила себе Соня, крепко закрывая глаза.— Ну, хватит же! Больше не надо! Нужно идти!»

И она хотела идти, откачивалась от березы, а ноги не держали ее, и идти она не могла.

— Что такое?— громко спросил кто-то сзади.

Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо, не отпуская березы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало, чтобы не упасть, он схватил ее за плечо. Рука его была перепачкана землей.

— А!— пьяно сказал он.— Это вы? А я... на огороде... был.— Он качнулся и прижался к ней.— На свадьбу, сволочь, пригласил! — с усилием выговорил он.— А! Убью! Теперь все! Литром хотел откупиться... Врешь, гад! Меня не купишь!

Николай заскрипел зубами и матерно выругался.

— Вам плохо?— испуганно спросила Соня.— Хотите воды?

— Кого? Мутит меня...

Он оторвался от Сони и пошел за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное.

Потом с мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.

— Вам легче теперь?— тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит ее.

— Малость полегчало... Чего это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю.

— Я редко хожу на гулянки.

— А! Вы при школе живете?

— При школе.

— Провожу, желаете?

Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошел в сени напиться.

— Вы чего плакали-то?— спросил он, вернувшись.— Обидел кто?— У Сони благодарно забилось сердце. Она опустила голову.

— Нет, никто не обидел...

— А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю!— Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой.

Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.

— Послушайте, вы совсем пьяный!— с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

— Ну да!— Николай тер себе рукою лицо.— Какой там пьяный.

Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Николай обидится, осталась.

Николай почему-то опять опьянел, сипло дышал, держал Соню за руку.

— Ну расскажите же что-нибудь,— попросила она, поднимая к нему бледное в темноте лицо.

— Чего там рассказывать?..— хрипло сказал он, схватил ее, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.

— Пустите!— шептала она, вырываясь.— Пустите!

— Тихо!— говорил он шепотом, толкал ее в темные сени.— Тихо! Чего ты, ну чего ты, дура!

В сенях он прижал ее к стене.

— Коля... Успокойся, милый! Боже мой, что же это?

— Любишь меня?— бормотал Николай.— У, собака!

— Не надо, Коля, не надо!— сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил ее.

Отдышавшись, он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.

— Ну ладно...— сказал он.— Не сердись! Ты вот что... Ты приходи завтра к риге. Придешь?

— Когда?— спросила шепотом Соня, вся дрожа.

— Часов в семь. Ладно?

— Приду...

— Ага...— Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окурок, долго притаптывал его каблуком.— Ну, пока!

Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и фальшивой.

Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое лицо, острые плечи и ключицы. «Боже мой, какая я страшная!— подумала она и вздрогнула.— Надо пить рыбий жир! Обязательно рыбий жир!»

Она полезла в стол и прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве, против ее дома, горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стеклах. Здесь за окном была глухая тьма.

— Это любовь?— спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.

Весь следующий день Соня была сама не своя. С утра пошел было дождь. Диктуя ребятам какой-то отрывок, Соня с испугом смотрела в окно на мокрых кур и лужи. Но дождь прошел, небо очистилось, и к вечеру проезжающие мимо школы автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что вчера один парень провожал ее и сегодня назначил свидание. Письмо получилось большим и веселым. Окончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене.

Она думала, придет Николай или нет, а если придет, то как будет держать себя и что говорить. Еще со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет целовать ее. Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вчерашнее темно-синее платье, завила немножко волосы и надушилась. Ладони ее потели.

Когда она шла по деревне, ей казалось, что из всех окон на нее смотрят и что все знают, куда и зачем она идет. Ей было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла.

Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже, близ дороги, стоял трактор. Замасленный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Соню, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.

Сойдя в ложок, на дне которого не высыхала никогда исслеженная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и уйти, не дождавшись ее. Она прибавила шагу, потом побежала.

Она остановилась, когда вдали показалась рига. Никого не было возле риги, и Соня обрадовалась. Она немного передохнула, потом сняла и вытерла травой запыленные туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагревшейся за день стены шел жар.

Пришел мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали на телегах из города, посматривали в ее сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушел. Несколько раз он насмешливо обернулся. «Он догадался! — со стыдом думала Соня. — Хорошо, что он не из моей школы!»

Она опять спряталась за ригу, сорвала ромашку. Лепестки у ромашки были опущены, она была похожа на ракету. Соня стала отрывать лепестки! «Придет, не придет...» Вышло — не придет. Хуже всего было, что Соня не знала, откуда придет Николай. Она вставала, выходила из-за риги, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась, когда показался Николай. Он шел низом от реки, засунув руки в карманы, в накинутом на плечи пиджаке. Подходя, он с напряженным вниманием разглядывал Соню, как человек, что-то забывший и силившийся вспомнить. Лицо его делалось все скучней. Подойдя, он отвел глаза и вяло протянул руку.

— Привет...

— Здравствуйте, — ответила Соня, не смея поднять глаз.

— Давно ждете?

— Нет...

— Гм... Ну, зайдем в холодок.

Они обошли ригу и сели на ворохе соломы лицом к дороге. Солнце заходило, все меркло, тень от риги протянулась через все поле.

— Благополучно вчера дошли?— спросила Соня, быстро взглядывая на Николая и сочувственно, понимающе улыбаясь.

— Нормально...— Николай зевнул и снял пиджак.— Не выспался только.

— Вы вчера были нехороший,— мягко сказала Соня.

— Чего еще!— Николай равнодушно обнял Соню, притянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

— Скоро стемнеет,— заметила Соня, покорно приникая к Николаю и слыша гулкие удары его сердца.

— Как попозднеет, пойдем в горох, а?— Николай мотнул головой куда-то вправо.— Там шалаш есть. Пойдешь?

— Не надо об этом, Коля,— тихо попросила Соня и вздохнула.

— Эх,— воскликнул вдруг Николай.— Спать охота! Ну-ка дай прилягу...

Он отодвинулся и лег, разбросав ноги в сапогах, положил голову Соне на колени. Полежав немного с закрытыми глазами, он закинул руку и схватил Соню за бок.

— Чего это ты худая такая?

Соня перестала на минуту дышать.

— Конституция такая,— насильно улыбаясь, сказала она.

— Ну, конституция! Наверно, больная чем-нибудь. Это как скотина: заболела — как ни корми, все одни мосляки.

Соне вдруг стало все безразлично, и она несколько

раз сглатывала, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

— Почему вы такой грубый! — вдруг низко сказала она. — Или вы думаете, что со мной все можно?

Она резко отвернулась и стала медленно краснеть:

— Не смейте так говорить со мной! Слышите!

Она закусила нижнюю губу и рукавом крепко вытерла глаза. Потом, по-прежнему напряженно глядя в поле, шевельнула коленями.

— И уходите! Я вам не скотина, снимите голову, слышите! Оставьте меня!

Николай смущенно сел.

— Ну, ну... — забормотал он. — Извиняюсь! Ну вот, знал бы... Не хотел — гад буду! Это по работе — привыкнешь.

— Нет, не по работе, — уже спокойно, грустно сказала Соня и опустила голову. — А потому что...

Она теребила платок, пальцы ее дрожали, лица не было видно.

— Потому, что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться!

Николай крепко поскреб в затылке и ничего не сказал.

— Что это вы ругались вчера? — спросила Соня после долгого молчания.

— Так... — Николай нахмурился. — У меня с ним свои счеты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видала вчера невесту! Гулял я с ней...

— Вас, наверное, многие девушки любят, — сказала Соня.

— А! — Николай сморщился, как от кислого, и опять положил голову ей на колени. — Знаю я ихнюю любовь!

— Зачем вы так, Коля? — быстро сказала Соня. —

Нужно верить людям! Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди!

Николай поднял голову и сплюнул.

— Вы не верите?— упавшим голосом спросила Соня.

— В чего это?

— В чистоту человека.

Николай засмеялся.

— Ох, и любят же бабы воду мутить! Чистота...— Он поворочался, зевнул и закрыл глаза.

От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жесткого в наступающих сумерках, красивого лица веяло чугунной силой.

Соня дрожащей рукой стала перебирать волосы Николая, жадно глядела на него, все еще стыдясь и краснея.

— Коля... Вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая,— сказала она еле слышно.

— Обожди! — Он поднял голову и прислушался. Потом сел, опираясь рукой о ее колени.

По дороге, тихо разговаривая, шли двое.

— Эй,— крикнул Николай.

— Зачем вы, Коля!— шепнула Соня, пряча лицо.

Шедшие остановились.

— Куда это?— опять крикнул Николай.

— На гулянку. А кто это? Никак, Николай!

— Он самый. Где гулянка-то?

— В Сосновке.

На дороге закурили и, посвечивая огоньками, пошли дальше. Николай посмотрел им вслед.

— Погодите!— крикнул он вдруг.— И я с вами!

Он торопливо встал, встряхнул пиджак, накинул на плечи. Потом, кашлянув, протянул руку Соне.

— Ну, пока! Еще когда повидаемся...— Отвернулся

и, придерживая пиджак, рысцой стал догонять тех, на дороге.

Совсем стемнело. Сбоку вылупился тонкий месяц, от реки по лугам пополз прозрачный туман. Звуки умирали, один раз только за ригой что-то пробежало: «топ-топ-топ»...

Соня сидела, привалясь спиной к стене, подняв кверху лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала, полегчает, но не легчало. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела окаменев.

Наконец она встала, держась за стену, постояла немного и пошла домой. Едва отошла она от реки, стало сухо и тепло. Опять шла она мягкой дорогой, но теперь ей светили звезды. Нежно пахло сеном и придорожной пылью. От сияния Млечного Пути тьмы полной не было, по сторонам виднелись то стога сена, то копешки льна, то светлело неубранное поле ржи.

— У-у! — сказала Соня все тем же низким, страшным звуком.— У-у!..

Больше она не могла ничего сказать и ни о чем подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что давеча чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле. Чуть видна была звездочка его фары, слышен был слабый стрекот мотора.

Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира, и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров и почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она все-таки женщина и что, как бы там ни было, у нее есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймет. О! Тупой, тупой

дурак — какую силу и прелесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте — одинокая под полыхающими, падающими звездами.

Скоро показалась темная деревня. Многие уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. «А ну! Попробуй укуси!» — задыхаясь от мстительной отваги подумала Соня и повернулась к ней лицом. Но собака не укусила, только дунула два раза на ноги и побежала в темноту. Соня пошла дальше, и ей стало совсем легко.



НА ОСТРОВЕ

1

Рейсовый пароход, на котором приехал ревизор Забавин, низко вибрирующе загудел и, разворачиваясь, заваливаясь на правый бок, пошел дальше к глухим северным становищам. А Забавин даже

не оглянулся на него — так надоел ему за трое суток этот грязно-белый пароход, грохот лебедок на стоянках, гул моторов, коротконогий капитан, старший помощник с наглым развратным лицом, грубые официантки.

Чем больше ездил Забавин по северу, тем привычней и скучнее ему становилось. Давно перестал он замечать красоту мрачных скал, красоту моря и северной природы, хоть когда-то очень все это любил.

И теперь, в карбасе, раздраженный, небритый, он не обращал внимания ни на странные очертания острова, похожего на сгорбившегося, уткнувшегося в воду зверя, ни на темно-зеленые камни под водой, ни на веселые разговоры вокруг, а хотел только скорее очутиться на берегу в теплой комнате.

Когда карбас, пробравшись возле многочисленных катеров, моторок и ботов, пристал к деревянному пирсу, Забавин первый выбрался на берег и потопал ногами, с наслаждением чувствуя твердую землю.

На пирсе было тесно от громадных тюков высушенных сиреневых и бурых водорослей, от бочек с цементом, труб, рельсов, пачками ржавеющих возле стен низкого склада. Пахло очень сильно и дурманяще водорослями и послабее — рыбой, канатами, нефтью, досками, сеном, морем, — вообще всем тем, чем пахнут обычные морские пристани.

Забавин вяло пошел по утрамбованному шлаку мимо цехов с глухо работающими машинами, мимо котельной, от которой в холодном утреннем воздухе тянуло теплом.

Кругом была унылая земля, покрытая белесым ягелем, с выпирающими там и сям буграми серого камня. Лошади и коровы одиноко бродили по ягелю, были худы, и на них, заброшенных на этот дикий остров и

совершенно лишних, не нужных ему, жалко было смотреть.

Забавин поморщился, вздохнул, спросил у рабочих контору, ему показали, и он пошел прямо туда, уже ни на что больше не глядя, думая только о том, как бы поскорее лечь спать — последнюю ночь на пароходе он почти не спал.

Ему отвели комнату, и он хорошо выспался. А проснувшись, побрился, смочил голову одеколоном и тщательно, до блеска причесался. Потом напился из тонкого стакана горячего крепкого чая своей заварки и с удовольствием выкурил сигарету. Наконец, достав папку с документами, завязав галстук, радуясь тому, что он хорош, опрятен и чист, что он избавился на эти дни от противного запаха соленой трески, который осточертел ему на пароходе, бодрый и свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком, он пошел в контору, чтобы уже по-настоящему заняться тем, из-за чего он приехал сюда.

Весь этот день и два следующих Забавин провел в сухой работе, проверяя документы, которые в толстых папках носили ему в кабинет, осматривая чаны с агаровым студнем, дробилки, склады и лаборатории.

Все это время он был холоден и деловит, тогда как директор, радуясь свежему человеку, суетился, болтал, жадно расспрашивал Забавина об Архангельске. В ермолке, с выпученными глазами в вывороченных веках, с глубокими складками на сизых склеротических щеках, он всюду сопровождал Забавина, колыхаясь, тяжело ступая своими тумбообразными ногами и мучаясь одышкой. Рядом с огромным директором Забавин — худощавый, черноволосый, в узких брюках — казался подростком и, чувствуя на себе откровенно жадные взгляды молодых работниц, делался холоднее и деловитее.

2

Однажды Забавину понадобилось послать телеграмму в Архангельск, и он пошел на метеостанцию, на которой, ему сказали, была рация. Он отыскал ее без труда по высокой радиомачте, от которой во все стороны к земле были туго натянуты тросы.

Поднявшись на крыльцо, Забавин постучал. Ему никто не ответил, тогда он отворил дверь и вошел в дом. Из комнаты, в которую он попал, было еще три или четыре двери. Одна из них вдруг распахнулась, и выглянул паренек-радист. Он был с тонкой шеей, большими розовыми ушами и с прической на лоб. Увидев Забавина, он сделал подозрительное лицо.

— Вы кто будете? — спросил он, стараясь говорить строже. И, не дослушав Забавина, выговорил, торопясь и хмурясь, что начальника метеостанции сейчас нет, что без нее он ничего не принимает для передач и что радиосвязь с Архангельском будет только вечером.

Забавин сказал, что зайдет вечером и вышел на крыльцо, чувствуя спиной недоверчиво-испуганный взгляд радиста. Погода была хороша, и Забавин решил побродить по острову.

Он поднялся к белой башне маяка и, оглядевшись, заметил впервые, как красиво море, как горит оно и туманится под солнцем. Возле маяка он набрел на деревянную заколоченную часовенку, а немного пониже ее заметил старое кладбище. Он пошел туда, вздыхая, стал бродить между осевшими могильными холмиками и вросшими в землю темными плитами.

На одной плите Забавин с трудом разобрал: «Под сим камнем покоится прах р. б. Смоленской губернии города Белой подпоручика и смотрителя маяка Василия

Иванова Прудникова. Жизни его без перерыва было пятьдесят шесть лет. Преставился после путешествия на Соловец монастырь тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года сентября шестого дня. Господи, прими дух его с миром».

«Н-да... — подумал с некоторой грустью Забавин. — Сто лет прошло... Сто лет!»

Он попытался еще что-нибудь прочесть, но другие плиты были еще старее, вовсе поросли мохом, и ничего нельзя было разобрать. Тогда Забавин сел на одну из плит лицом к морю и долго сидел неподвижно, поддавшись грустному очарованию осени, забытого кладбища, думая о тех, кто жил здесь, может быть, не одну сотню лет назад. Потом медленно, в глубокой, неприятной задумчивости спустился вниз и пошел к себе спать.

Но спалось ему плохо, он скоро проснулся и сел к окну. Пока он спал, к острову подошел туман. Туман был очень густ, и ничего не стало видно кругом. Скрылись радиомачта, маяк, длинная темная корга, скрылись цехи и трубы завода.

Козы собрались в кучу под окном и стояли неподвижно. Жизнь на острове, казалось, прекратилась. Туман поглотил все звуки, только на севере, не умолкая, гудел ревун, и звук его был печален и зловещ.

После того как побывал Забавин на кладбище, у него зародилось странное чувство к этому острову. Смотритель маяка, живший и умерший сто лет назад, когда здесь, наверное, было еще мрачнее,— не выходил у него из головы.

И от тумана, от диких воплей ревуна, от вида неподвижных коз ему стало не по себе, захотелось разговора, людей, музыки... Он скоро собрался и пошел на метеостанцию, настороженно оглядываясь, с трудом

находя дорогу в тумане и наступающих ранних осенних сумерках.

Начальником метеостанции оказалась девушка лет двадцати пяти с редким именем Августа. Она была маленькая, с тоненькими ножками, коротко пострижена, и от этого с особенно нежной, слабой шейкой, с круглым смуглым личиком и большими, мохнатыми от ресниц глазами.

Все на острове звали ее просто Густей. Когда она улыбалась, щеки ее вспыхивали слабым румянцем, тотчас розовели и маленькие уши. При взгляде на нее Забавину стало щекотно на душе, захотелось обнять ее, погладить короткие пушистые волосы, ощутить на шее у себя ее теплое дыхание...

Отдав радисту текст телеграммы, он попросил разрешения посидеть, послушать радио. Густя быстро, охотно и, как показалось Забавину, радостно повела его к себе, в свою маленькую комнату, зажгла настольную лампу и пошла ставить чай.

Пока она доставала чашки, пока тонкими руками расставляла их на столе, позвякивая ложками, сыпала сахар в сахарницу, Забавин сел, одергивая свои задирающиеся узкие брюки, кладя по привычке ногу на ногу, включил приемник, засветившийся сумеречным гранатовым светом, поймал какую-то близкую норвежскую станцию, закурил и сморщил губы от наслаждения.

С необыкновенной пристальностью разглядел он вдруг во всех подробностях и милую хозяйку, и эту крохотную комнатку с одним окном на юг, с десятком книг на этажерке, ковриком и узкой, тщательно застеленной и, по-видимому, жесткой кроватью... Ему вспомнилась откровенная жадность, с которой смотрели на него работницы в цехах, и, чтобы не улыбнуться, он

стал думать об острове, о кладбище, о том, что за окном — темнота и туман.

Но странно, теперь эти мысли не тревожили, не угнетали его, наоборот, с тем большим наслаждением слушал он норвежскую музыку, треск печи в большой комнате, следил исподтишка за хозяйкой.

— Ах, черт! — сказал Забавин, глядя на варенье и на Густины руки.— Простите... Знаете, ездишь, ездишь — и всегда кипяток, черствые серые булки, одиночество... Ах черт! В кои веки повезет, как сегодня!

— А! — произнесла Густя, опуская глаза.

— Серьезно! — сказал оживленно Забавин. — На дворе туман, ревун этот проклятый, даже страшно. Когда едешь один или сидишь вечером в какой-нибудь комнате для приезжих, все думаешь: давно ли мечтал о любви, о каких-то подвигах, о счастье — и вот ничего, и мотаешься по свету, ревизуешь, отвыкаешь от семьи...

Забавин вдруг перехватил странный взгляд Густи, спохватился и покраснел.

— Извините... — пробормотал он, проникаясь внезапным отвращением к себе.— Вам не интересно, а меня прорвало: молчал целую неделю и такой вечер...

— Ничего, пожалуйста! — сказала Густя, наливая Забавину чай. — Пейте!

Забавин засмеялся, взял чашку. Они разговорились, и он скоро узнал, что она давно работает здесь, получает по договору уже двойную ставку, что она скучает, хочет уехать в Архангельск или в Ленинград.

Поговорив о скуке, перебрав общих знакомых, заговорили о любви и счастье, и оба еще больше оживились.

— Вот вы говорите о сознательной любви,— вдруг сказал Забавин, хоть Густя вовсе не говорила о созна-

тельной любви.— Все рассуждают о любви, говорят и решают, и судят, кому кого любить. Писатели пишут о любви, читатели устраивают конференции и спорят, достоин ли он ее или она его, кто из них лучше, выше и сознательней, кто более подходит веку коммунизма. А между тем каждый из нас на своем месте никогда не может разобраться, что такое любовь! И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что в любви очень малую долю играют такие качества, как ум, талант, честь и прочее, а главное — совсем другое, что-то такое, о чем не скажешь и чего никак не поймешь. Да что далеко ходить! Я знаю одного парня — дурака, пьяницу и наглеца, человека без чести и совести. И представьте, его страшно любят женщины, причем женщины умные, интеллигентные. И он знает, что его любят, занимает у них деньги, относится к ним по-скотски, и они плачут от обиды, я сам видел! Почему?

— Наверно, вы не замечаете в нем того, что замечают эти женщины,— серьезно сказала Густя.

— А! Что они в нем замечают! Ум? Талант? Широту души? Так нет же — дурак наглый, ленивый! И не лицо даже у него, а заплывшая морда.

В комнате радиста попикивало, стучал ключ, наконец, все смолкло, послышались шаги.

— Ну, я все принял и передал... Сводка на столе!— крикнул радист и хлопнул наружной дверью.— На завтра — «ясно»! Я в клуб прошвырнусь! — крикнул он уже с улицы, затопал по крыльцу, а в доме стало тихо.

Выражение лица Густи сразу изменилось, она как будто чего-то испугалась, оглянулась на темное окно, пристально, серьезно посмотрела на Забавина и тотчас, покраснев, опустила глаза. А Забавин, будто не было ему тридцати пяти лет, не было позади ни армии, ни

семьи, ни работы — почувствовал внезапно колющее волнение и сухость во рту, то есть то именно, что чувствовал он в молодости, когда влюблялся в девочек-школьниц и целовался с ними в тихие белые ночи.

— И еще тоже счастье... — начал тихо Забавин, и по тому, как он это сказал, Густя поняла, что он скажет сейчас что-то серьезное, хорошее, успокоилась и улыбнулась ему, расширяя и останавливая на его лице прекрасные бархатистые глаза.

— Надеются обычно на будущее,— продолжал Забавин, прихлебывая чай, ощущая темноту за окном и холодное дыхание моря.— Надеются на будущее и живут мелко, суетливо, неинтересно... Живут, не видя рядом ничего хорошего, ругают жизнь, уверенные в том, что вот настанет пора и придет счастье. Все так, и вы так, и я... А между тем счастье у нас во всем, везде — счастье, что вот мы с вами сидим и пьем чай, что вы мне нравитесь, и вы знаете, что нравитесь...

Забавин запнулся, передохнул, улыбнулся как бы сам над собой, а Густя, вся пунцовая, не смела поднять глаз.

— Хочется, чтобы пришел кто-то сильный и заставил нас всех оглянуться. Ведь чем дальше, чем больше мы живем, тем счастья меньше! Человечество всегда юно, но мы-то, мы стареем... Мне сейчас тридцать пять, вам...

— Двадцать пять,— прошептала Густя, решилась поднять пылающее лицо и прямо взглянула в глаза Забавину.

— Ну вот! А через год мне будет тридцать шесть, вам двадцать шесть,— мы оба и все тоже постареем на год, что-то от нас уйдет, какая-то частичка бодрости, какое-то количество клеток отомрет навсегда, а там еще

и еще из года в год... И главное, будет стареть не только тело, не только мы будем седеть, лысеть, у нас будут появляться разные болезни, которых теперь нет, но и души будут стареть, понемногу, незаметно, но будут — какое же тут счастье? Нет, счастья в этом никакого нет, и я не понимаю людей, которые все ждут, вот придет лето, и я буду счастлив, а когда приходит лето и он не счастлив, он думает: вот настанет зима, и я буду счастлив... Да что говорить!

— В чем же счастье? — тихо спросила Густя.

— В чем? Я тоже думаю: в чем? Вы вот хотите вырваться с этого острова, ждете чего-то, думаете, пройдет год, два, три — и я буду счастлива! Нет же! Вы сейчас именно счастливы, потому что ничего у вас не болит, вы молоды, у вас прекрасные глаза, потому что теперь, когда вам двадцать пять, смотреть в ваши глаза — наслаждение, и у вас важная работа, и море, и этот остров... Подумайте!

— Легко говорить! — сказала Густя, недоверчиво улыбаясь.

— Да! Конечно, свет велик, прекрасных мест множество, и в конце концов, почему именно остров! Конечно, Архангельск — место куда более интересное, чем этот остров. Когда вы думаете, да и я когда сейчас думаю об Архангельске, или Москве, или Ленинграде, нам представляются театры, огни, музеи, выставки, шум, движение и все такое... Жизнь, одним словом! Правда? А между тем, когда я там, дома, я ничего этого не замечаю, я начинаю думать обо всем этом только издали, а когда я приезжаю в Архангельск, я вдруг узнаю, что у меня заболел сын, что на работе вечером совещание, что торопят с отчетом... И начинаешь крутиться, как белка в колесе, вовсе не видишь никаких

театров и прочего. Чем же я лучше вас живу? Так сказать, в высшем смысле? Нет, нет, вы гораздо счастливее меня: вам двадцать пять, а мне тридцать пять!

— В этом ли дело! — сказала Густя, поднимая кверху лицо и вздыхая.

— В этом! Рано или поздно вы уедете, конечно, будете жить в Ленинграде, видеть Неву, мосты, Исаакий... Но поверьте мне, когда вы уедете отсюда, вам обязательно будет вспоминаться этот остров, жители его, море, этот запах водорослей, перистые облака, солнце, грозы, северное сияние, штормы, и через много лет вы поймете, что счастливы были именно здесь.

— Не знаю, — задумчиво произнесла Густя. — Я об этом как-то не думала...

— Да, почти всегда так. Мы жалеем об ушедшем — издали лучше видно.

Забавин волновался и, глядя на Густю, думал помимо воли, как было бы хорошо долго-долго жить с ней где-нибудь. Он расстраивался от этих мыслей, понимая свое бессилие что-нибудь изменить в жизни, но не думать об этом не мог и не мог никак уйти от Густи, хотя было уже поздно.

Он собрался уходить тогда только, когда вернулся из клуба радист, прошел к себе, стал ловить джаз и насвистывать.

Густя вышла с Забавиным на крыльцо, и они долго стояли, привыкая к темноте.

— Я провожу вас, а то здесь тросы натянуты,— сказала Густя и взяла его за руку. Рука ее была шершава, горяча и дрожала. «Милая!» — мысленно поблагодарил ее Забавин и тут же с грустью подумал о себе.

Туман разошелся, ревун давно умолк, над головой

горели маленькие пронзительные звезды и тек Млечный Путь, разорванный, раздвоенный, но ясный.

Быстро освоившись с темнотой, Густя пошла впереди, а Забавин шел сзади, еле различая ее светлый платок, неуверенно нащупывая среди мха каменистую тропу. Прошли несколько минут в молчании, потом Густя остановилась, и Забавин тотчас увидел внизу редкие желтые огоньки поселка.

— Ну вот... — сказала Густя.— Теперь вы сами дойдете, не заблудитесь. До свиданья.

— Погодите еще немного,— попросил Забавин. — Я покурю.

— Хорошо,— подумав, ответила Густя, опять взяла его за руку, прошла несколько шагов и остановилась возле какой-то ограды, прислонясь к ней и повернувшись к Забавину лицом. Забавин закурил, стараясь разобрать выражение лица Густи при свете спички, но ничего не разобрал.

Внизу мерно и широко шумел прибой, шел прилив, холодило. Ветер нес особенно грустный запах осеннего моря. А само море было глубоко и таинственно черно.

Забавин внезапно заметил, что лицо Густи то бледно возникает, то пропадает в темноте. Он оглянулся и через три-четыре секунды увидел высокую белую звезду маяка, окруженную сиянием, вспыхнувшую на мгновение ярким светом в ночи и снова погасшую. Потом звезда опять вспыхнула и погасла, и так повторялось все время, и было странно и приятно видеть этот мгновенный немой свет.

Забавин опять повернулся к Густе.

— Маяк, — сказал он без выражения. — Нам светит маяк.

Потом, как бы видя себя со стороны и осуждая, нагнулся и крепко поцеловал ее в неподвижные потрескавшиеся губы.

Ничего не сказав, Густя отвернулась от него. Забавин взял ее за худенькие плечи и повел в темноту, в какие-то шуршащие кусты и мелкорослые жесткие деревья с терпким запахом осени, по мягкому мху, сквозь который чувствовался твердый, холодный камень, — дальше от света маяка. Наконец они остановились: впереди была глухая тьма и гул моря.

— Зачем? — печально сказала она. — Вы меня совсем не знаете! А главное — зачем?

Забавин опять поцеловал ее. И когда он ее целовал, лицо его было скорбно и глаза закрыты, хотя он и думал, что, может быть, это и есть то счастье, о котором они говорили недавно.

— Не надо больше, пойдемте назад,— тихо сказала она.

— Не сердитесь! — также тихо попросил Забавин и покорно пошел за ней.

У ограды, где они поцеловались в первый раз, Густя остановилась, всхлипнула и прижалась лицом к холодному плащу Забавина.

— До завтра, — сказала она наконец, вытирая слезы и вздыхая. — Я теперь не буду спать всю ночь... Зачем, зачем все это?

Оттолкнув его, она быстро пошла, почти побежала домой и показалась вдруг очень жалкой, когда он смотрел ей вслед. Он долго потом стоял и смотрел то на вспышки маяка, то на далекий теплый свет в окне Густи. Лицо его горело, в горле першило, и он все кряхтел и морщился, не в силах уйти, и сердце его билось медленно и тяжело.

3

Пароход, на котором Забавин собирался уезжать в Архангельск, должен был зайти на остров через неделю. Впереди было семь необыкновенных, счастливых дней! Но на другое утро в контору, где работал Забавин, пришел радист с метеостанции и молча подал ему телеграмму. На бланке было написано: «Срочно ждем Архангельске тчк. Парохода не ждите зпт сегодня или завтра остров зайдет шхуна Сувой тчк Максимов».

Забавин похолодел. Радист ушел, Забавин хотел продолжать работу, но уже ничего не понимал, что ему говорили, не помнил никаких цифр. Кое-как справившись с делами и подписав последние документы, он отметил командировку у директора и пошел домой.

А вечером, когда Забавин собрался последний раз к Густе, к острову подошла шхуна. Она появилась внезапно, как судьба, и о ней узнали по короткому вою сирены, по огням — зеленому и белому — на мачтах и по радиограмме, которую приняли сначала на маяке, потом на метеостанции. Забавин, волнуясь, послал ответную телеграмму, и шхуна осталась на якоре до утра.

До двух часов ночи Забавин и Густя ходили по острову, вспугивая куропаток, которые взлетали с глухим шорохом, сидели на холодных шершавых камнях, любя друг друга все сильней и больше, и все время им светили огни на шхуне, напоминая о скорой разлуке.

Потом они пришли на метеостанцию, и опять сумрачно, гранатово светился радиоприемник, играла тихая веселая музыка, бормотали дикторы, опять они пили чай, говорили, но мало — больше наглядывались друг на друга, и не могли наглядеться...

— Что это у нас? — спрашивала Густя.— Это счастье? Скажите! Я не знаю...

— Ну-ну, — небрежно отвечал Забавин. — Просто приятный вечер.

— Боже мой! — говорила она. — Как же это вы... Как же вы едете? Вдруг едете! Только появились и уже едете!

— Подари на прощанье мне билет...— протяжно сказал Забавин.— На поезд куда-нибудь...

— Что? — не поняла Густя. — Какой билет?

— Песня такая... И мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился в путь! Веселая такая песня. Не знаете?

— Вы сказали... — Густя покрутила радио.— У вас сын есть?

— Двое... двое! Мальчик и девочка. Так-то, милая!

Занялся неохотный скупой рассвет. Окно в комнате побелело. Забавин встал, мельком взглянул в зеркало, увидел свое бледное, несчастное лицо, подошел к окну, протер рукой запотевшее стекло.

Небо было светло-голубое, пустое, будто стеклянное, море — огромное, выпуклое и спокойное, а метрах в двухстах от берега, как наваждение, неподвижно стояла черная шхуна на якоре, и на мачтах еще горели бледные огни.

Куда хватало глаз, все застыло — на берегу и на воде — было неподвижно, безлюдно и мертво.

Он отвернулся от окна и взглянул на Густю. Она сидела у стола, прижав руки к груди, где сердце. Глаза ее были закрыты, маленькое бледное личико казалось спокойным, как у спящей. Забавин осторожно надел плащ.

— Густя... пора,— сказал он сипло и стал закуривать. Но почему-то он не чувствовал крепости сигареты.

— Что, уже? Подождите! Я сейчас... Я вас провожу! — заторопилась Густя.

Забавин опять повернулся к окну, сгорбился, слушая, как прерывисто дышит, ходит по комнате Густя.

Вместе вышли они на крыльцо. Забавин вдохнул холодный резкий воздух, поежился, посмотрел на разгоравшуюся зарю, на седой от инея мох. Они пошли рядом, но не по тропе, а прямо к морю. Мох хрустел у них под ногами.

Был отлив, карбас на катках оказался далеко от воды. Они долго сталкивали его, раскраснелись, запыхались, наконец влезли и оттолкнулись от берега.

Забавин взялся за весла, стал медленно выгребать.

Густя сидела на корме, особенно смуглая в этот час, смотрела поверх головы Забавина, правила кормовым веслом.

Вода была необычно прозрачна. Камни, песок, водоросли, похожие на конские хвосты, и листья морской капусты тихо проплывали под ними. Иногда Забавин переставал грести, засматривался на неподвижно висящих смугло-розовых медуз и удивлялся, что может в такую минуту интересоваться чем-то.

Карбас глухо стукнул о борт шхуны. Тотчас на палубу поднялся капитан в синей телогрейке и высоких сапогах. Он был без шапки, с белесыми волосами и молодым, скуластым, опухшим от сна лицом.

— Товарищ Забавин? — сильно окая, спросил он, нагибаясь сверху. — Давайте конец!

Забавин подал ему чемодан и бросил веревку. По-

том повернулся к Густе, покачиваясь, сделал три шага к корме. Густя поднялась и стояла, смотря сквозь застилавшие ей глаза слезы в лицо Забавина.

Они поцеловались долго и крепко, до боли, потом Забавин, задохнувшись, отвернулся и полез на борт шхуны. Капитан, смотревший на них с серьезным лицом, помог ему и быстро спустился в кубрик на носу.

Через минуту из кубрика, на ходу натягивая телогрейку, стали вылезать заспанные матросы, и шхуна ожила. Заиндевевшая палуба покрылась темными следами от сапог, застучал дизель, зазвенела якорная цепь. Поднялся еще заметный ветерок, стал морщить гладкую воду. У Густи упала на лоб прядь волос, она не поправила ее, сидела неподвижно.

Капитан сам стал к штурвалу и, посмотрев на Забавина, дал малый ход. Шхуна тронулась, карбас с Густей стал отделяться. На носу стоял лохматый матрос, закидывал веревку с грузом, хрипло кричал:

— Восемь!

В глубине по-прежнему были видны зеленоватые камни, темные пятна водорослей и медуз.

Забавин стоял у борта и смотрел, как все дальше уходит берег и карбас. Густя, как осталась, так и не шевельнулась больше, сидела на корме. Черный нос карбаса, высоко поднятый, под ветром тихонько поворачивался к берегу. Забавин слышал пустой звон в голове, смотрел на остров, на карбас, глаза его были сухи и саднили.

Выйдя из опасного места в открытое море, шхуна развила ход, капитан передал штурвал матросу, вышел из рубки и стал рядом с Забавиным.

— Завтра к вечеру будем в Архангельске,— негромко сказал он.

Остров стал уже темной голубоватой полоской, можно было различить еще только белую башенку маяка, больше ничего. Началась морская крупная зыбь, корпус шхуны дрожал от дизеля. Наконец и полоска скрылась, кругом была вода — покатые гладкие волны, до самого горизонта. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело.

— Ветерок будет, — зевая сказал капитан. — Эй! Эй! Приборочку, живо! — вдруг резко крикнул он. — А вы пожалуйте в кубрик, — пригласил он Забавина.

Спустившись в кубрик, они сели за узкий стол друг против друга и закурили.

— Выпить хотите? — спросил капитан и полез в шкафчик.

Забавин выпил и передернулся всем телом.

— Ну, как? — спросил капитан. — Еще?

— Все в порядке, старик! — сказал Забавин. — Спасибо!

— Это что — супруга ваша была? — помолчав, спросил капитан.

— Нет, — ответил слабо Забавин, и у него задрожали губы.

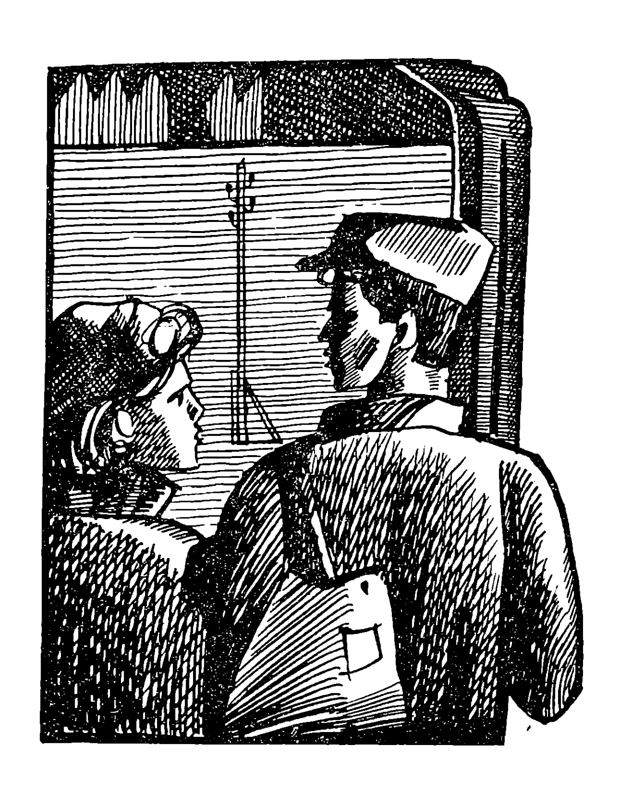
— Лягте, отдохните, — предложил капитан. — Вот эта койка у нас свободная.

Забавин послушно разделся и лег на койку, узкую и жесткую, со спасательным поясом в головах. Кубрик едва заметно поднимало и опускало. За бортом звенела вода.

«Ну вот и счастье,— подумал Забавин и сейчас же увидел лицо Густи. — Вот и любовь! Как странно... Любовь! Подари на прощанье мне билет...»

И он лежал и, скорбно сжав губы, все думал о Густе и об острове, все виднелось ему ее лицо и глаза, слышался голос, и он не знал уже, во сне ли это, наяву ли...

Звенела за бортом вода, и звон этот был похож на звук бегущего, веселого, никогда не умолкающего ручья.



ДВОЕ В ДЕКАБРЕ

Он долго ждал ее на вокзале. Был морозный солнечный день, и ему все нравилось: обилие лыжников и скрип свежего снега, который еще не успели убрать в Москве. Нравился и он сам себе: крепкие лыжные ботинки, шерстяные носки почти до

колен, толстый мохнатый свитер и австрийская шапочка с козырьком, но больше всего лыжи, прекрасные клееные лыжи, стянутые ремешками.

Она опаздывала, как всегда, и он когда-то сердился, но теперь привык, потому что, если припомнить, это, пожалуй, была единственная ее слабость. Теперь он, прислонив лыжи к стене, слегка потопывал, чтобы не замерзли ноги, смотрел в ту сторону, откуда она должна была появиться, и был покоен. Не радостен он был, нет, а просто покоен, и ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят, что дома тоже хорошо, и что зима хороша: декабрь, а по виду настоящий март, с солнцем и блеском снега, — и, что главное, с ней у него хорошо. Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыхание, и от этого больно делается сердцу. Слава богу, это все прошло, и теперь другое — покойное, доверчивое и нежное чувство, вот что теперь!

Когда она наконец пришла и он увидал близко ее лицо и фигуру, он просто сказал:

— Ну-ну! Вот и ты...

Он взял свои лыжи, и они медленно пошли, потому что ей надо было отдышаться: так она спешила и запыхалась. Она была в красной шапочке, волосы прядками выбивались ей на лоб, темные глаза все время косили и дрожали, когда она взглядывала на него, а на носу уж были первые крохотные веснушки.

Он отстал немного, доставая мелочь на поезд, глянул на нее сзади, на ее ноги и вдруг подумал, как она красива и как хорошо одета, и что опаздывает она потому, наверное, что хочет быть всегда красивой, и эти ее

прядки, будто случайные, может быть, вовсе не случайны, и какая она трогательная, озабоченная!

— Солнце! Какая зима, а? — сказала она, пока он брал билеты. — Ты ничего не забыл?

Он только качнул головой. Он даже слишком набрал всего, как ему теперь казалось, потому что рюкзак был тяжеловат.

В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно: все кричали, звали друг друга, с шумом занимали места, стучали лыжами. Окна были холодны и прозрачны, но лавки с печками источали сухое тепло, и хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами, когда поезд тронулся, и слушать быстрое мягкое постукивание колес внизу.

Минут через двадцать он вышел покурить на площадку. Стекла в одной половине наружных дверей не было, по площадке разгуливал холодный ветер, стены и потолок закуржавели, резко пахло морозом, железом, а колеса здесь уже не постукивали, а грохотали, и рельсы гудели.

Он курил, смотрел сквозь стеклянную дверь внутрь вагона, переводя взгляд с одной скамейки на другую, испытывая ко всем едущим чувство некоторого сожаления, потому что, как он думал, никому из них не будет так хорошо в эти два дня, как ему. Он рассматривал также и девушек, их оживленные лица, думал о них и волновался слабо и горько, как всегда, когда видел юную прелесть, проходящую мимо с кем-то, а не с ним. Потом он посмотрел на нее и обрадовался. Он увидел, что и здесь — среди молодых и красивых — она была все-таки лучше всех. Она смотрела в окно, лицо ее было матово, а глаза темны и ресницы длинны.

Он тоже стал смотреть через дверь без стекла на

мороз, на воздух, щурился от яркого света и от ветра. Мимо проносились скрипучие деревянные, засыпанные снегом платформы. На платформах иногда попадались фанерные буфеты, все выкрашенные в голубое, с железной трубой над крышей, с голубым же дымком из трубы. И он думал, как хорошо сидеть в таком буфете, слушать тонкие посвисты проносящихся мимо электричек, греться возле печки и пить пиво из кружки. И как вообще все прекрасно: какая зима, какая радость, что у него есть теперь кого любить, что та, которую он любит, сидит в вагоне и на нее можно посмотреть и встретить ответный взгляд! О, как это здорово, уж он-то знает: сколько вечеров он провел дома один, когда у него не было ее, или бесцельно слонялся по улицам с приятелем, философствовал, рассуждал о теории относительности и о других приятно-умных вещах, а когда возвращался домой, было грустно. Он даже стихи сочинял, и они тогда нравились приятелю, потому что у него тоже никого не было. А теперь приятель женился...

Он думал, как странно устроен человек. Что вот он юрист и ему уже тридцать лет, а ничего особенного он не совершил, ничего не изобрел, не стал ни поэтом, ни чемпионом, как мечтал в юности. И как много причин у него теперь, чтобы грустить, потому что жизнь не получилась, а он не грустит, его обыкновенная работа и то, что у него нет никакой славы, вовсе не печалит, не ужасает его. Наоборот, он теперь доволен и покоен и живет нормально, как если бы добился всего, о чем ему мечталось.

У него одно было только всегдашнее беспокойство — мысли о лете. Еще с ноября начинал он думать и загадывать, как и куда поедет на время своего будущего летнего отпуска. Этот отпуск всегда ему казался таким

нескончаемым, таким в то же время кратким, что нужно было заранее все обдумать и выбрать место самое интересное, чтобы не ошибиться, не прогадать. Всю зиму и весну он волновался, узнавал, где хорошо, какая там природа, и какой народ, и как туда добраться, и эти расспросы и планы были, может быть, приятнее даже самой поездки и отпуска.

Он и сейчас подумал о лете, о том, как поедет на какую-нибудь речушку. Они возьмут с собой палатку, приедут на эту речушку, накачают байдарку, и она станет, как индейская пирога... Прощай тогда Москва и асфальт, и всякие процедуры, и юридическая консультация!

И он тут же вспомнил, как они первый раз уехали из Москвы вместе. Они поехали тогда в Эстонию, в крохотный городок, где он как-то был по делам. Как они ехали в автобусе, как ночью приехали в Валдай, там все было черно и один только ресторан еще жил, светился; как он выпил стакан старки и опьянел, и ему весело было в автобусе, потому что рядом ехала она и глухой ночной порой дремала, прислонясь к нему. И как они приехали на рассвете, и хоть была середина августа и в Москве зарядили дожди, здесь было чисто и светло, всходило солнце, беленькие домики, острые красные черепичные крыши, обилие садов, глушь и тишина, и заросшие курчавой травкой между камнями улицы.

Они поселились в чистой, светлой комнате, везде там, по подоконникам, под кроватью и в шкафу лежали, зрели антоновские яблоки и крепко пахли. Был еще богатый рынок; они ходили вместе и выбирали себе копченое сало, мед кусками, масло, помидоры и огурцы (дешевизна была баснословная). И этот запах из пе-

карни, беспрерывное воркование и плеск крыльев голубей. А главное — она, такая неожиданная, будто бы совсем незнакомая и в то же время любимая, близкая. Какое было счастье, и еще, наверное, не такое будет, только бы не было войны!

Последнее время он часто думал о войне и ненавидел ее. Но теперь, глядя на сияющий снег, на леса, на поля, слушая гул и звон рельсов, он с уверенностью подумал, что никакой войны не будет, так же как не будет и смерти вообще. Потому что, подумал он, есть минуты в жизни, когда человек не может думать о страшном и не верит в существование зла.

Они сошли чуть не последними на далекой станции. Снег звонко заскрипел под их шагами, когда они пошли по платформе.

— Какая зима! — снова сказала она, щурясь. — Давно такой не было!

Им надо было пройти километров двадцать до его дачи, переночевать там, покататься еще днем и возвратиться вечером, домой, по другой железной дороге.

У него был маленький фруктовый участок с летней дощатой дачкой, а на этой дачке — две кровати, стол, грубые табуретки и чугунная немецкая печка.

Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз, похлопал лыжами по снегу, взметая пушистую порошу, потом проверил крепления у нее, и они потихоньку двинулись. Сначала они хотели идти быстрей, чтобы пораньше добраться до дому, успеть прогреть его хорошенько и отдохнуть, но идти быстро в этих полях и лесах невозможно было.

— Смотри, какие стволы у осин! — говорила она и останавливалась. — Цвета кошачьих глаз.

Он тоже останавливался, смотрел — и верно, осины

были желто-зелены наверху, совсем как цвет кошачьих глаз.

Лес был пронизан дымными косыми лучами. Снег пеленой то и дело повисал между стволами, и ели освобожденные от груза, раскачивали лапами.

Они шли с увала на увал и видели иногда сверху деревни с белыми крышами. Во всех избах топились печи, и деревни исходили дымом. Дымки поднимались столбами к небу, но потом сваливались, растекались, затягивали, закутывали окрестные холмы прозрачной синью, и даже на расстоянии километра или двух от деревни слышно было, как пахнет дымом, и от этого запаха хотелось скорей добраться до дому и затопить печку.

То они пересекали унавоженные, затертые до блеска полозьями дороги, и хоть был декабрь, в дорогах этих, в клочках сена, в голубых прозрачных тенях по колеям было что-то весеннее, и пахло весной. Один раз по такой дороге в сторону деревни проскакал черный конь, шерсть его сияла, мышцы переливались, лед и снег брызгали из-под подков, и слышен был дробный хруст и фырканье. Они опять остановились и смотрели ему вслед.

То нервно и взлохмаченно летела страшно озабоченная галка, за ней торопилась другая, а вдали ныряла, не выпуская галок из виду, заинтересованная сорока: что-то они узнали? И на это нужно было смотреть. А то качались, мурлыкали и деловито копошились на торчащем из-под снега татарнике снегири — необыкновенные среди мороза и снега, как тропические птицы, и сухие семена от их крепких, толстых клювов брызгали на снег, ложась дорожкой.

Иногда им попадался лисий след, который ровной

и в то же время извилистой строчкой тянулся от былья к былью, от кочки к кочке. Потом след поворачивал и пропадал в снежном сиянии. Лыжники шли дальше, и им попадались уже заячьи следы или беличьи в осиновых и березовых рощах.

Эти следы таинственной ночной жизни, которая шла в холодных пустынных полях и лесах, волновали сердце, и думалось уже о ночном самоваре перед охотой, о тулупе и ружье, о медленно текущих звездах, о черных стогах, возле которых жируют по ночам зайцы и куда издали, становясь иногда на дыбки и поводя носом, приходят лисицы. Воображался громовой выстрел, вспышка света и хрупкое ломающееся эхо в холмах, брех потревоженных собак по деревням и остывающие, стекленеющие глаза растянувшегося зайца, отражение звезд в этих глазах, заиндевелые толстые усы и теплая тяжесть заячьей тушки.

Внизу, в долинах, в оврагах, снег был глубок и сух, идти было трудно, но на скатах холмов держался муаровый наст с легкой порошей — взбираться и съезжать было хорошо. На далеких холмах, у горизонта, леса розово светились, небо было сине, а поля казались безграничными.

Так они и шли, взбираясь и скатываясь, отдыхая на поваленных деревьях, улыбаясь друг другу. Иногда он брал ее сзади за шею, притягивал и целовал ее холодные обветренные губы. Говорить почти не говорили, редко только друг другу: «Посмотри!» или «Послушай!»

Она была, правда, грустна и рассеяна и все отставала, но он не понимал ничего, а думал, что это она от усталости. Он останавливался, поджидая ее, а когда она догоняла и смотрела на него с каким-то укором, с каким-то необычным выражением, он спрашивал осто-

рожно, — он-то знал, как неприятны спутнику такие вопросы:

— Ты не устала? А то отдохнем.

— Что ты! — торопливо говорила она. — Это я так просто... Задумалась.

— Ясно! — говорил он и продолжал путь, но уже медленней.

Солнце стало низко, и только одни поля на вершинах холмов сияли еще; леса же, долины и овраги давно стали сизеть и глохнуть, и по-прежнему по необозримому пространству лесов и полей двигались две одинокие фигурки — он впереди, она сзади, и ему было приятно слышать шуршание снега под ее лыжами и чирканье палок.

Однажды в розовом сиянии за лесом, там, где зашло уже солнце, послышался ровный рокот моторов, и через минуту показался высоко самолет. Он был один озарен еще, солнечные блики вспыхивали на его фюзеляже, и хорошо было смотреть на него снизу, из морозной сумеречной тишины, и воображать, как в нем сидят пассажиры и думают о конце своего пути, о том, что скоро Москва и кто их будет встречать.

В сумерки они наконец добрались до места. Потопали заледенелыми ботинками на холодной веранде, отомкнули дверь, вошли. В комнате было совсем темно, и казалось холоднее, чем на улице.

Она сразу легла, закрыла глаза. Дорогой она разгорячилась, вспотела, теперь стала остывать, озноб сотрясал ее, и страшно было пошевелиться. Она открывала глаза, видела в темноте дощатый потолок, видела разгорающееся пламя в запотевшем стекле керосиновой лампочки, зажмуривалась — и сразу начинали плавать, сменять друг друга желто-зеленое, белое, голубое,

алое — все цвета, на которые нагляделась она за день.

Он доставал из-под террасы дрова, грохал возле печки, шуршал бумагой, разжигал, кряхтел, а ей не хотелось ничего, и она была не рада, что поехала с ним в этот раз.

Печка накалилась, стало тепло, можно было раздеться. Он и разделся, снял ботинки, носки, развесил все возле печки, сидел в нижней рубахе — довольный, жмурился, шевелил пальцами босых ног, курил.

— Устала? — спросил он. — Давай раздевайся!

И хоть ей не хотелось шевелиться, а хотелось спать от грусти и досады, она все-таки послушно разделась и тоже развесила сушить куртку, носки, свитер, осталась в одной мужской ковбойке навыпуск, села на кровать, опустила плечи и стала глядеть на лампу.

Он сунул ноги в ботинки, накинул куртку, взял ведро, которое, когда он вышел на веранду, вдруг певуче зазвенело. Вернувшись, он поставил на печку чайник, стал рыться в рюкзаке, доставал все, что там было, и раскладывал на столе и подоконнике.

Она молча дожидалась чаю, налила себе кружку и потом тихо сидела, жевала хлеб с маслом, грела горячей кружкой руки, прихлебывала и все смотрела на лампу.

— Ты что молчишь? — спросил он. — Какой сегодня день был. А?

— Так... Устала я страшно сегодня. — Она встала и потянулась, не глядя на него. — Давай спать!

— И это дело, — легко согласился он. — Погоди, я дров подложу, а то дом настыл...

— Я сегодня одна лягу, можно вот здесь, у печки? Ты не сердись, — торопливо сказала она и опустила глаза.

— Что это ты? — удивился он и сразу вспомнил весь ее сегодняшний грустно-отчужденный вид, а вспомнив, озлобился, и сердце у него больно застучало.

Он понял вдруг, что совсем ее не знает — как она там учится в своем университете, с кем знакома и о чем говорит. И что она для него загадочна, как и в первую встречу, незнакома, что он, наверное, груб и туп для нее, потому что не понимает, что ей нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтобы ей уж ничего и никого не нужно было.

И ему стало сразу стыдно за весь сегодняшний день, за эту жалкую дачу и печку, и даже почему-то за мороз и солнце, и за свой покой: зачем ехали, зачем все это нужно? И где же это хваленое проклятое счастье?

— Ну что ж... — сказал он равнодушно и перевел дух. — Ложись, где хочешь.

Не взглянув на него, не раздеваясь, она сразу легла, накрылась курткой и стала смотреть в печку на огонь. Он перешел на другую кровать, сел, закурил, потом потушил лампу и лег. Горько ему стало, потому что он чувствовал: она от него уходит. Что-то не выходило у них со счастьем, но что, он не знал и злился.

Через минуту он услышал, что она плачет. Он привстал, посмотрел через стол на нее. От печки было довольно светло, а она лежала ничком, глядела на пылающие дрова, и он видел ее несчастное, залитое слезами лицо, жалко и некрасиво кривящиеся дрожащие губы и подбородок, мокрые глаза, которые она все вытирала тонкой рукой.

Отчего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо? Она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, а теперь наступает что-то новое и прежняя жизнь ей стала неинтересна. Ей на-

доело быть никем перед его родителями, дядьями и тетками, перед его друзьями и своими подругами, она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так. Но и смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было все так неясно и неопределенно, зато незнакомо, горячо и полно ощущением новизны.

Потом она стала засыпать, и ей пригрезилась снова ее давнишняя мечта, с которой она засыпала каждый раз еще девочкой. Что будто бы он сильный и мужественный и любил ее, а она его тоже любила, но почему-то говорила: «Нет!» — и он уехал далеко на север и стал рыбаком, а она страдала. Он там охотился в прибрежных скалах, прыгал с камня на камень, сочинял музыку, выходил в море ловить рыбу и думал все время о ней. Однажды она поняла, что счастье у нее только с ним, все бросила и поехала к нему. Она была так красива, что все ухаживали за ней дорогой: летчики, шоферы, моряки, но она никого не видела, а думала только о нем. Встреча с ним должна была быть такой необыкновенной, что страшно было даже вообразить. И придумывались все новые и новые задержки, чтобы как-то отдалить эту минуту. Так она и засыпала обыкновенно, не встретившись с ним.

Давно уже не думала она на сон ни о чем подобном, а сегодня почему-то опять захотелось помечтать. Но и сегодня, в то время, когда она уже ехала на попутном мотоботе, мысли ее стали мешаться, и она уснула.

Проснулась она ночью оттого, что было холодно. Он сидел на корточках и растоплял остывшую печку. Лицо у него было грустное, и ей стало его жалко.

Утром они помолчали сначала, молча завтракали, пили чай. Но потом повеселели, взяли лыжи и пошли

кататься. Они взбирались на горы, съезжали, выбирая все более крутые и опасные места.

Дома они грелись, говорили о незначительном, о делах, о том, какая все-таки хорошая зима в этом году. А когда стало темнеть, собрались, заперли дачу и пошли на лыжах на станцию.

К Москве они подъезжали вечером, дремали, но когда показались большие дома, ряды освещенных окон, он подумал, что сейчас им расставаться, и вдруг вообразил ее своей женой.

Что ж! Первая молодость прошла, то время, когда все кажется простым и необязательным — дом, жена, семья и тому подобное, — время это миновало, уже тридцать, и что в чувстве, когда знаешь, что вот она рядом с тобой, и она хороша, и все такое, а ты можешь ее всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен, — в этом чувстве, собственно, нет никакой отрады.

Завтра целый день в юридической консультации писать кассации, заявления, думать о людских несчастьях, в том числе и о семейных, а потом домой — к кому? А там лето, долгое лето, всякие поездки, байдарка, палатка — и опять — с кем? И ему захотелось быть лучше и человечнее и делать все так, чтобы ей было хорошо.

Когда они вышли на вокзальную площадь, горели фонари, шумел город, а снег уже успели убрать, увезти, и они оба почувствовали, что их поездки как бы и не было, не было двух дней вместе, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придется, может быть, дня через два или три. Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко, и простились они, как всегда прощались, с торопливой улыбкой, и он ее не провожал.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Павлович Казаков

ЗАПАХ ХЛЕБА

Рассказы

Редактор **А. А. Чернов**
Художник **И. Г. Снегур**
Худож. редактор **Э. А. Розен**
Технич. редактор **Н. Е. Болдырева**
Корректор **Л. П. Королева**

Сд. в наб. 17/IV-65 г. Подп. к печ. 26/VIII-65 г. Ф. бум. 70×108$^{1}/_{32}$. Физ. печ. л. 3,0. Усл. печ. л. 4,11. Уч.-изд. л. 3,75. Изд. инд. ЛХ-38. А11815. Тираж 30 000 экз. Цена 11 коп. Тем. план 1965 г. № 187.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ № 474.


Советская
Россия

11 коп.

●СОВЕТСКАЯ РОССИЯ●